КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ
ПИСЬМА К ВАСИЛИЮ РОЗАНОВУ



ПИСЬМА
К
ВАСИЛИЮ
РОЗАНОВУ

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ
ПИСЬМА К ВАСИЛИЮ РОЗАНОВУ

Вступление, комментарии и послесловие В. В. Розанова

Вступительная статья Б. А. Филиппова

NINA KARSOV
London 1981

Konstantin Leont'ev: PIS'MA K VASILIYU ROZANOVU
Vstupleniye, kommentarii i poslesloviye V. V. Rozanova

Original journal publication
under the title *Iz perepiski K. N. Leont'eva*
in *Russkiy Vestnik*, 1903, No. 4–6

First published in Great Britain in 1981
by **Nina Karsov**
28 Lanacre Avenue, London NW9 5FN

British Library Cataloguing in Publication Data

Leont'ev, Konstantin
Pis'ma k Vasiliiu Rozanovu.
1. Leont'ev, Konstantin 2. Rozanov, V. V.
I. Title II. Rozanov, V. V.
III. Filipoff, B. A.
891.78'308 PG3467.L4

ISBN 0-9502324-9-1
ISBN 0-907652-00-X Pbk

Cover design by Andrzej Krauze

Впервые опубликовано
под названием *Из переписки К. Н. Леонтьева*
в журнале *Русский Вестник*, в № 4–6 за 1903 год

Reproduced from copy supplied,
printed and bound in Great Britain
by Billing and Sons Limited and Kemp Hall Bindery,
Guildford, London, Oxford, Worcester

НЕПОНЯТЫЙ

К 150-летию со дня рождения
Константина Леонтьева (13/25 января 1831)

Увы, все сочинения Леонтьева похожи на страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом.
Вас. Розанов

Его цитируют иной раз монархисты, почти всегда из вторых рук, тенденциозно вытаскивая нужные цитаты. Нет-нет, цитату из него встретишь даже у какого-нибудь Чалмаева из *Молодой Гвардии*, когда тому захочется поговорить о самобытности русского национального характера. Но народ, нация, „племя" – для Леонтьева не слишком-то явление значительное: „Племя, разумеется, – явление очень реальное. Поэтому племенные чувства и сочувствия кажутся довольно естественными и понятными. Но и в них много необдуманности, модного суеверия и фразы. Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, какую кровь иногда любишь, полагая, что любишь свою близкую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все великие нации очень смешанной крови... Любить племя за племя – натяжка и ложь..." (*Византизм и славянство*).

Кто же Леонтьев (1831 – 1891)? Консерватор, реакционер? Но, кажется, нет русского мыслителя и писателя более свободного, независимого во взглядах, чем он. Так его понимает и далеко не „реакционер" – Бердяев. Ницшеанец до Ницше? Но ведь он был не только христианином, но и закончил дни свои в монастыре. Христианин? – Но в письме к В. В. Розанову, уже из монастыря, в последний год своей жизни, он писал, что „и христианская проповедь, и прогресс европейский /который К. Н. Леонтьев люто ненавидел и презирал, *Б.Ф.*/ совокупными усилиями стремятся убить *эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь*. И Церковь говорит: „конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде". *Что же делать?* Христианству мы должны помогать, даже в ущерб любимой нами эстетике, из *трансцендентального* эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, мы можем противиться, ибо он одинакого вредит и христианству, и эстетике"... И, умирая монахом, на смертном одре, он бешено бушевал, кричал, что умирать не хочет – и не согласен...

Славянофил? Но Леонтьев не любил славян, не любил даже русского православия, предпочитал ему строгую красоту и красивую строгость православия греческого. Не Зосима Достоевского, а суровый аскетизм греческой Афонской горы. Христианство Толстого и Достоевского для Леонтьева – „розовое". Для него – страх Божий – начало премудрости, а не „Бог есть любовь": „трансцендентальный эгоизм" – жажда личного спасения. Из славян, пожалуй, он уважал по-настоящему лишь поляков – за превосходную, изящную и хорошо откристаллизовавшуюся иерархически устойчивую *форму* их национального бытия. Русские? Русских он – уже по происхождению своему – любил. Но для него исконная русская культура – дичок славянский, аморфный, стихийный, оформившийся в мировую культуру лишь после прививки византинизма...

Пожалуй, по душе ближе были ему турки. Леонтьев – европеец-романтик – бежит из Европы обезличенных, нивеллированных „средних европейцев", из Европы „мещански-либеральной" на Восток. Ему по душе там все: пестрота жизни и нравов, красочность костюмов, даже свирепость, но своеобразное крепкодушие и отвага. „Дело не в маскараде

каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть" (*Египетский голубь*). Не нравится ему на Востоке (в Греции, скажем) только семья — прозаической прочностью и незыблемостью основ, первобытной простотой своей. Ни семейную этику, ни мораль вообще Леонтьев не слишком-то жалует. Уже монахом он противопоставляет чисто церковной, религиозной оценке „чистую *этику* (которую я *и теперь*, при всей искренности моей веры, мало уважаю)"...

Чистый эстет? Некое подобие французским и русским символистам, проповедникам „имманентности" и самоценности искусства? О, нет! Он в том же 1891 году пишет Розанову, „что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику *в природе и в искусстве*, чем эстетику в истории и вообще в жизни человеческой. Эстетика природы и эстетика искусства... никому не мешают и многих утешают. Что касается настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями и жестокостями, со столькими *пороками*, что нынешнее (сравнительно, конечно, с прежним) слабонервное, мало верующее, телесно самоизнеженное и жалостливое (тоже сравнительно с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в действительности — 'избави Боже!' "

В чем же это леонтьевское эстетическое понимание истории (и жизни) состоит? В замечательном письме к о. И. Фуделю Леонтьев дает следующую схему относительной применимости тех или иных критериев к истории и, вообще, жизни:

МИСТИКА (особенно положительные религии)	Критерий только для единоверцев. Ибо нельзя христианина судить и ценить по-мусульмански, и наоборот.
ЭТИКА И ПОЛИТИКА	Только для человека.
БИОЛОГИЯ (физиология человека, животных и растений, медицина и т.п.)	Для всего органического мира.

ФИЗИКА (т. е. химия,
механика и т. д.)

Для всего

ЭСТЕТИКА

Итак, эстетика жизни и истории Леонтьева – это эстетика творчества самой жизни, а не эстетика *отражений* ее в искусстве, не эстетика лишь восприятий, пассивных, эстетских. Эстетика – в биологическом и физическом, в социально-культурном и бытовом *развитии*. Распространение образованности, эгалитарный процесс – не развитие, а *разлитие*. „Идея же *развития* собственно соответствует в тех реальных, точных науках, из которых она перенесена в иерархическую область, некоему *сложному процессу* и, заметим, нередко вовсе противоположному с процессом распространения, разлития, как бы враждебному этому последнему процессу... Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой – от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатсва внутреннего, и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития... *есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством*... Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва *уравниваясь и смешиваясь внутренне*, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую 'Нирвану'..." (*Византизм и славянство*).

Отсюда – эгалитарный процесс – как бы оправдываемый и идеей социальной справедливости (этика), и христианством („несть еллин ни иудей") – процесс вторичного упрощения, распада исторического и социально-культурного организма, – процесс, в сущности, *гниения*, „смесительного упрощения". А Леонтьев за *форму* во всем: „*Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться*. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет... Растительная и животная мифология есть... наука

о том, как оливка *не смеет* стать дубом, как дуб *не смеет* стать пальмой и т. д.; им с зерна *предустановлено* иметь такие, а не другие листья, такие, а не другие цветы и плоды... Тот, кто хочет быть истинным реалистом, ... должен рассматривать и общества человеческие с подобной точки зрения. Но обыкновенно делается не так. Свобода, равенство, благоденствие (особенно это благоденствие!) принимаются какими-то догматами веры, и утверждают, что это очень рационально и научно! Да кто же сказал, что это правда?" (*Там же*).

Совершенный и законченный детерминизм! Никакого проблеска свободы выбора. Слабое место концепции Леонтьева хорошо подметил И. С. Аксаков. В автобиографии *Моя литературная судьба* Леонтьев передает обрывок своего спора с Иваном Аксаковым: „... – Потом, – продолжал Иван Сергеевич, – вы совершенно уничтожаете влияние лица, вы забываете свободную, личную деятельность человека... У вас процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фаталистический, деспотический, неизбежный... Поэтому о чем же хлопотать? Вы – Иеремия, плачущий над развалинами... – А разве Иеремия не писал? – спросил я. Аксаков никак не ожидал этого соображения и замолчал вдруг; он забыл, что Иеремия писал". Ответ, конечно, остроумный. Но он не является ответом по существу. Ибо не снимает вопроса о трагическом детерминизме, более того, безнадежном фатализме. Ибо и сам-то Леонтьев писал о полной и неотвратимой гибели: „Верно только одно... одно только несомненно, – это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений?" (*Наши новые христиане*). Но если так, то не является ли и проповедь Леонтьева – только игрой ума, самоцельной и ничего остановить не могущей? Но как по сравнению с этой мужественно-пессимистической, но воистину органической философией истории грубо мифологичен и просто глупо выглядит так называемый „научный социализм" – марксизм! И как издевался, как бы предвидя марксистов, Леонтьев над „диалектикой" марксизма, тупо останавливающейся на коммунизме, как окончательной социальной и культурно-исторической формации (социалистический хилиазм): ведь дальше диалектические материалисты говорят истории:

стоп! Диалектика тут кончается: ведь не могут же признать коммунисты, что и коммунизм, по их же историческим законам, неизбежно должен перейти в свою противоположность, – скажем, капитализм... Для правоверных же коммунистов тут начинается сплошная Осанна... И Леонтьев издевается: „Что такое *окончательное* слово на земле? *Окончательное* слово может быть одно: – *Конец всему на земле!* Прекращение истории и жизни... Иначе почему же и в каком смысле окончательное? Ведь неподвижным и неизменным не может стать человечество ни умом, ни вкусом, ни волей?" (*Епископ Никанор о вреде железных дорог*).

„Прыжок из царства рабства в царство свободы" социалистов... Свобода, равенство... Равенство – это в социально-историческом смысле – распад живой ткани жизни, всегда органической, т. е. *иерархической*. Свобода... „Идея *свободы* (свободы *от чего*? *Для чего*? И *во имя чего*?)... есть лишь понятие чисто отрицательное и значит, что личность, или нация, состоящая из лиц же, или какой-нибудь класс людей должен встречать как можно меньше препятствий и ограничений со стороны Церкви, государства, общества и семьи на жизненном пути своем. Но во имя *чего*, для какого *идеала* дается и требуется эта *свобода*? Тут ответ один: для *блага*, для большего удобства и счастья на земле" (*Письма о восточных делах*).

Но можем ли мы достичь когда-нибудь этого „блага"? Во-первых, закон жизни один: наши притязания растут много быстрее достижений. Во-вторых, сколько людей – столько и притязаний, и все они, как правило, прямо противоположны друг другу. И, подобно Шигалеву – в *Бесах* Достоевского, – но совсем с других позиций, Леонтьев заключает: „Если же анархисты и либеральные коммунисты, стремясь к собственному идеалу крайнего равенства (который невозможен) своими собственными методами необузданной свободы личных посягательств, должны рядом антитез привести общества, имеющие еще жить и развиваться, к большей неподвижности и весьма значительной неравноправности, то можно себе сказать вообще, что *социализм, понятый как следует, есть не что иное, как новый феодализм*, уже вовсе недалекого будущего, разумея при этом слово

феодализм, конечно, не в тесном и специальном его значении романо-германского рыцарства и общественного строя..., а в самом широком его смысле, т. е. в смысле глубокой /обособленности/ классов и групп, ... в смысле *нового закрепощения* лиц другими лицами и учреждениями, подчинения одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим, или чем-нибудь облагороженным (так, напр., как были подчинены у нас в старину рабочие селения монастырям)" (*Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения*). И Леонтьев именует социализм „реакционной организацией будущего".

Спасется ли Россия? Едва ли, – отвечает Леонтьев. Он не верит ни в природную стойкость русской семьи, ни в творческие силы народов. Лишь сильная государственность и православие – византинизм – могут несколько задержать, „подморозив", процесс эгалитарного прогресса, – замедлить приход всегда и для всех – людей, наций, государств, культур – неизбежной смерти. „Спасемся ли мы государственно и культурно? Заразимся ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим мистическим настроением Индии? Соединим ли мы эту китайскую государственность с индийской религиозностью, *и подчиняя им европейский социализм*, сумеем ли мы постепенно образовывать *новые общественные прочные группы и расслоить общество* на новые горизонтальные слои – или нет? Вот в чем дело! Если же нет, то мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы окончательно смешавши всех и вся, написать последнее „мене-текел-фарес!" на здании всемирного государства... *Окончить историю, погубив человечество*; разлитием всемирного равенства и распространением всемирной свободы сделать жизнь человеческую на земном шаре уже совсем невозможной... Ибо ни новых диких племен, ни старых уснувших культурных миров тогда уже на земле не будет" (*там же*). А, следовательно, в мир не смогут прийти и освежить его старческие силы новые, нетронутые варвары, как это было в эпоху великого переселения народов...

Можно – и нужно спорить с историческим детерминизмом и мрачным прогнозом Леонтьева. Но никак не назовешь его утопистом, никак не откажешь ему в гениальном про-

видчестве, в смелости мысли. Понят он не был. Недаром он, гениальный мастер прозы (особенно – публицистической, хотя и художественная проза его весьма хороша и своеобразна), своими путями идущий мыслитель, не был понят современниками, да и сейчас его знают больше по наслышке. Но он – хотя бы в глазах немногих – уже занял свое большое место в русской литературе и русской мысли. И прав Розанов, писавший: „... С Достоевским и Толстым Леонтьев разошелся, как угрюмый и непризнанный брат их, брат чистого сердца и великого ума. Но он именно их категории".

* * *

И вот, в этом же году, что и 150-летний юбилей его корреспондента, Леонтьева, 2 мая исполняется 125 лет со дня рождения другого автора этой книги, Василия Васильевича Розанова (1856 – 1919). Это послесловие к памятке о создателе эстетических воззрений на жизнь и историю, так же, как и сама памятка, – не статья, а цепь цитат, ибо не передать в изложении блеск, остроту, глубину и как бы нарочитую небрежность изумительнейших афоризмов великого скептического умника, как и его старший собеседник в этой книге, человека редкой свободы мысли и слова. Какую смелость нужно было иметь, чтобы не устрашиться явного террора самой давящей, самой нетерпимой цензуры дореволюционной России – цензуры оппозиционной и революционной общественности, объявлявшей писателя вне закона, если только он осмеливался усомниться в догматах либерализма, если не социализма! А Розанов то и дело метко ударял общественность „под-дых", следуя плебейской тропой за своим аристократическим старшим собеседником – разорившимся баричем Леонтьевым.

„Самолюбие и злоба – из этого смешана вся революция"... „Голод. Холод. Стужа. Куда же тут республики устраивать? Родится картофель да морковка. Нет, я за самодержавие. Из теплого дворца управлять „окраинами" можно. А на морозе и со своей избой не управишься. И республики затевают только люди „в своем тепле" (декабристы, Герцен, Огарев)"... „... да я нахожу лучше стоять полицейским на углу

двух улиц – более „гражданским", более полезным, более благородным и соответствующим человеческому достоинству, – чем сидеть с вами „за интеллигентным завтраком" и обсуждать чванливо, до чего „у нас все дурно", и до чего „мы сами хороши", праведны, чисты и „готовы пострадать за истину"... Боже мой: и мог я несколько лет толкаться среди этих людей. Не задохся, и меня не вырвало. ... Главное, как они „счастливы" и как им „жаль бедную Россию". И икра. И двухрубельный портвейн"... „В „социальном строе" один везет, а девятеро лодырничают... И думается: „социальный вопрос" не есть ли вопрос о девяти дармоедах из десяти, а вовсе не о том, чтобы *у немногих* отнять и поделить между всеми. Ибо после дележа будет четырнадцать на шее одного трудолюбца: и окончательно задавят его. „Упразднить" же себя и даже принудительно поставить на работу они никак не дадут, потому что у них „большинство голосов", да и просто кулак огромнее"... (Не в бровь, а в глаз: увы, не только коммунистические страны, но и свободный мир так страдает сейчас от полных бездельников, неизбежно, благодаря раковому заболеванию демократии – этатизму – переполнивших и затопивших государственный, профсоюзный, учебно-культурный и прочий административный аппарат: уже работники задыхаются в пучине бездельников, но бездельники-то цепки, крикливы и, увы, жизнестойки...) „Революция имеет два измерения – длину и ширину, но не имеет третьего – глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь *светлого, вкусного плода*, никогда не завершится... ...Революция всегда будет с мукою и будет надеяться только на „завтра"... И всякое „завтра" ее обманет и перейдет в „послезавтра"... ...В революции нет радости. *И не будет*. Радость – слишком царственное чувство, и никогда не попадет в объятия этого лакея. Два измерения: и она не выше человеческого, а ниже человеческого. Она механистична, она материалистична"...

Что же – правоверный монархист Розанов? Это с его-то ироническим и скептическим умом? Просто он очень умен и очень зорко и, главное, *непредубежденно* видит. Он видит, что и начинатели большевизма – тоже из „своих тепленьких мест": дворянско-помещичьих (Ленин, Чичерин, Осинский-кн. Оболенский и множество других), буржуйских (тот же Троцкий и множество других). Он видит ясно и вечное

откладыванье *на завтра* „спелого плода" социализма: поработайте во славу и на пользу не детей даже, а внуков, а внуки – на пользу своих внуков: и так – до бесконечности. Но при этом мы-то, каста вождей, будем цепко держаться за свои бездельные места – и для всего потомства нашего до второго пришествия... А рабочий класс – это как-то сбоку – если и выйдут вожди из него, то больше на сержантские теплые места – не выше. А православный монархизм Розанова... Его „руссизм"? „Симпатичный шалопай – да это почти господствующий тип у русских". Иногда и Ивано-Карамазовские мысли гнетут Розанова. „Родила червяшка червяшку. Червяшка поползала. Потом умерла. Вот наша жизнь"... Не боится он и темной бытийной бездны: „... все-таки есть что-то такое Темное, что одолевает и Бога. Иначе пришлось бы признать „не благого Бога". Но этого вынести уже окончательно не может душа человеческая. ... Не человек умрет, а душа его умрет, задохнется, погибнет. И на конце всего – бедные мы человеки"... И, колеблющийся, сомневающийся, часто предпочитающий библейского Бога с Его избранным народом многочадных патриархов, с его плодовитыми стадами и патриархальным многоженством и культом семейной радости – Христу, „открывающемуся слезам", Христу, убивающему смех, веселье, пестроту и радость жизни (гениальный очерк Розанова *Об Иисусе Сладчайшем...*). Но – Христос – „Лицо бесконечной красоты и бесконечной грусти". И Розанов все-таки остается православным, ибо если можно *жить* без Христа, то болеть и, главное, *умирать* можно только с Христом, „открывающимся слезам". „Западное христианство, которое боролось, усиливалось, наводило на человечество „прогресс", устраивало жизнь человеческую на земле, – прошло совершенно *мимо* главного Христова. Оно взяло *слова* Его, но не заметило *Лица* Его. Востоку одному дано было уловить Лицо Христа... Взглянув на Него, Восток уже навсегда потерял способность по-настоящему, по земному радоваться, по-просту – быть веселым; даже спокойным и ровным. Он разбил вдребезги прежние игрушки, земные недалекие удовольствия, – и пошел, плача, но и восторгаясь, по линии этого темного, не видного никому луча к великому Источнику 'своего Света' "... „Темные лучи солнца"... Все это так. Но есть не только монастырь и слезы, но и пашня,

которая кормит тот же монастырь и скорбящих. Розанов же вообще не принимает монашества. „Вот девство. – 'Я задыхаюсь! Меня распирает!' – 'Нельзя'. Вот монашество... – 'Не могу!!!!' – 'Нельзя!' – 'Умираю!!!' – 'Умирай!' Неужели, неужели это истина? Неужели это *религиозная* истина? Неужели это – Божеская правда на земле?"

У Розанова религиозное сознание, сама религия связана с полом: „Связь пола с Богом – бóльшая, чем связь ума с Богом, даже чем связь совести с Богом, – выступает из того, что все а-сексуалисты обнаруживают себя и а-теистами..." И Розанов убежден в принципиальной, так сказать, и фактической импотентности позитивистов, революционеров, коммунистов, атеистов. Вообще, социализм-атеизм-коммунизм – это обезбоженный и бесплодный аскетизм, убивающий и пол, и цветение и красоту жизни, и саму жизнь.

И нельзя убить эту жажду Откровения Божественного, нельзя убить и метафизику, которая „живет не потому, что людям „хочется", а потому, что сама душа метафизична. Метафизика – жажда. ... Это – „голод души", не могущей остановиться перед закрытыми наглухо воротами. А что же за ними?! Мечта? Фантазирование? Да ведь и сама-то „жизнь – раба мечты. В истории истинно реальны только мечты. Они живучи. ... Перед этим цепким существованием как рассыпчаты каменные стены, железные башни, хорошее вооружение. Против мечты нет ни щита, ни копья. А факты – в вечном полинянии".

Да и есть ли эти самые „чистые факты"? Вот Л. Д. Ржевский рассказывал мне, что в Швеции, в Лунде, в музее есть зал, посвященный *шведской* победе над Петром под Полтавой. Да прочтите, скажем, реляции об одном и том же сражении в последней мировой войне, опубликованные немцами – и советскими военачальниками, немецким Вермахтом – и ставкой Главнокомандующего английскими или французскими силами... Вот вам и факты! Нет, легенды народные – или фантазирование художника – много сильнее и правдивее... А любая м е ч т а сильнее фактов – и мы видим это сейчас на всей мировой арене нашего сегодня. Кто мог бы, скажем, предугадать панисламскую мечту Хомейни...

И уже после Октября писал в *Апокалипсисе нашего времени*: „Хороши же социалисты и вообще всероссийская

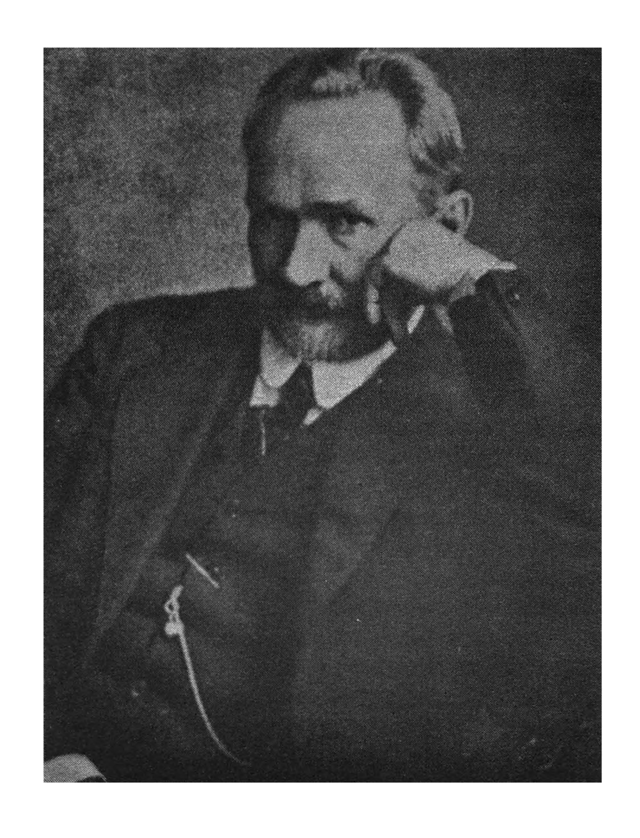
демократия: скормить, все отечество скормить, лютейшему врагу. ... Но нельзя не сказать: хороши и „лучшие люди России", начинавшие революцию в такую роковую войну, и, как оказалось потом, ничего решительно не предвидевшие. Ленин и социалисты оттого и мужественны, что знают, что их некому будет судить, что судьи будут отсутствовать, так как они будут съедены".

Но, еще и много раньше, в *Опавших листьях*, Розанов предвидел, как и Леонтьев до него, что „европейская цивилизация погибнет от сострадательности. ... Механизм гибели европейской цивилизации будет заключаться в параличе против всякого зла, всякого негодяйства, всякого злодеяния: и в конце времен злодеи разорвут мир. Заметьте, что уже теперь теснится, осмеивается, пренебрежительно оскорбляется все доброе, простое, спокойное, попросту добродетельное. Он зарезал 80-летнюю бабку и ее 8-летнюю внучку. Все молчат. „Не интересно". Вдруг резчика „мещанин в чуйке" ... полоснул по морде. Все вскакивают: „он оскорбил лицо человеческое", он „совершил некультурный акт". Так что собственно (погибнет) не от сострадательности, а от лжесострадательности... В каком-то *изломе* этого... ... „Гуманность" (общества и литературы) и есть ледяная любовь... Смотрите: ледяная сусулька играет на зимнем солнце и кажется алмазом. Вот от этих „алмазов" И ПОГИБНУТ ВСЕ..."

Пессимизм? Но ведь как трудно возразить на эти взгляды, на эти предвидения Розанова. Розанов противоречив? Да, он упрекает – так году в 1912 – Леонтьева: „... *мысли* его? Они зачеркиваются одни другими"... Но сам Розанов сплошь противоречит себе, иногда почти одновременно приходя к прямо противоположным заключениям. И это – его великое достоинство. Ведь непротиворечивы, во всем прямолинейны или педантичные тупоумцы, или фальшивомонетчики жизни. Построить всецело целостную и непротиворечивую систему взглядов – это всегда создать кривое зеркало бытия, всегда и во всем изменчивого, противоречивого. Диалектику бытия и диалектику мысли фактически отрицают не только глупцы (т. е., в первую очередь, диалектические материалисты), но и сам Гегель. Бытие не вколотишь в рамки любой стройно-последовательной системы. И в афоризматических фрагмен-

тах Розанова, в его бесконечных противоречиях, больше подлинного дыхания жизни, чем в стройных хороминах классической школьной философии...

Б. Филиппов



В. В. РОЗАНОВ

К. Н. Леонтьева я знал всего лишь неполный год, последний, предсмертный его. Но отношения между нами, поддерживавшиеся только через переписку, сразу поднялись таким высоким пламенем, что и не успевши свидеться, мы с ним сделались горячими, вполне доверчивыми друзьями. Правда, почва была хорошо подготовлена: я знал не только все его политические труды (собранные в сборнике *Восток, Россия и славянство*, 2 т.), но и сам проходил тот фазис угрюмого отшельничества, в котором уже много лет жил К. Н. Л–в. Самое место его жительства, – Оптина пустынь, где жил чтимый глубоко мною старец от. Амвросий, – привлекало меня. И я помню, что когда случалось, в праздничный вечер, играть с юношеством и подростками „в почту" (каждый *себя* называет городом и получает по своему адресу, как и отсылает от себя, шутливые записочки), – то всегда при этом выбирал (=называл себя) „Оптину пустынь". Она мне казалась самым поэтичным и самым глубокомысленным местом, среди прозаичных и скучно-либеральных „Петербурга" и „Москвы", не говоря уже о „Лондоне" или „Берлине". Строй тогдашних мыслей Леонтьева до такой степени совпадал с моим, что нам не надо было сговариваться, договаривать до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глубины понятно друг в друге. Мною, кроме большой книги *О понимании* (1886 г.), было написано к этому времени *Место христианства в истории*,

две статьи в *Вопросах философии и психологии* и *Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского* (в *Русск. Вестн.* за 1891 год). С временем окончания этой последней статьи совпадает и начало моего знакомства с Леонтьевым. Прочтя его *Анализ, стиль и веяние в произведениях гр. Л. Н. Толстого* в *Русск. Вестн.* за тот же 1891 год, я горячо заинтересовался самою личностью их автора и выписал его *Восток, Россия и славянство* через Говоруху-Отрока, писавшего под псевдонимом „Ю. Николаев". А когда Леонтьев узнал (через Говоруху-Отрока) о моем интересе к нему, то прислал мне, в Елец, книгу свою *Отец Климент Зедергольм, иеромонах в Оптиной пустыни*. На другой день после этого я получил и первое письмо, из пачки здесь предлагаемых. Дружба наша, столь краткая и горячая, не имела в себе прослойков, задоринок. Только можно сказать, в последний день его жизни мы разошлись. Именно, я как бы встал на дыбы при его предложении восхититься *и Вронским* (из *Анны Карениной*), а он еще выше поднялся на дыбы, из-за моего прямо отвращения к этому болвану, мясистому герою. Все было страстно, пылко в нашем противоречии. Совершенно я понимал его восхищение перед героями жизни, дела (полководец, политик), после того как литература, в ее невысоких слоях, приучила всех рамоликов, наших и иностранных, восхищаться только героями письменности, кабинета: учеными, поэтами, филантропами. Но, понимая это, я все-таки хотел преклониться – ну, перед Кромвелем, ну, наконец, даже хоть перед Фридрихом Великим, но уж никак не перед юбочником Вронским, с его „жирными ляжками", и т. п. Вронский *не был для меня героем*, не был представителем героического, т. е. эстетическим лицом, а для Леонтьева был. Притом я недаром любил от. Амвросия Оптинского: сам сын очень бедных людей и видев много в своей жизни бедности, я никогда от нее не хотел отделяться, *как от родного*, как медвежонок *от своей берлоги*. Кроме того, бедность я знал, как *трудность и страдание*, всегда возбуждавшее во мне и навсегда воспитавшее *сострадание*, – почему все сытое и самодовольное, физически или духовно, раз и навсегда имело во мне себе недруга. Итак, я был с Леонтьевым согласен на эстетику, но не в признании ее у *богатых, а у бедных*; согласен с религиозным

его устроением души, но нуждаясь в религии, *как утешении*, а не как источнике *квиетизма* (его точка зрения); и был готов на борьбу, движение, „походы" (какие можно и докуда можно), но в защиту пролетариата, а не против пролетариата. Таким образом, точек расхождения было множество; но нас соединило единство темпераментов и общность (одинаковость) положения. Обнищавший дворянин-помещик был то-же, что учитель уездной гимназии; а кружок монахов в Оптиной пустыни очень напоминал некоторые, идеально высокие типы из белого духовенства, какие мне пришлось встретить в Ельце. Такова была общая почва. Но главное, нас соединила одинаковость темперамента. Не могу ее лучше очертить, как оттенив отношением к Рачинскому. Рачинский всегда был рассудителен, до конца слов не договаривал, из принципа мыслей своих не выводил же; у него все были середочки(?!) суждений, благоразумные общие места, с которыми легко прожить; и сам он был предан такому благоразумному и добродетельному делу, около которого походив, надо было снять шапку и сказать: „благодарю вас, Сергей Александрович, за то, что вы существуете". Безразсудного-то и не было ничего у Рачинского, – безразсудного и страстного. А мы *роднимся* только на страстях. Я и Вронскому оттого не умел симпатизировать, что он мне казался тем-же мелким чиновником или литератором, только на военной почве, т. е. *с тем-же темпераментом*, мелочностью души и жизни. С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь в „мать-кормилицу, широкую степь", во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или голову положить, или царский венец взять. Еще не разобрать, кто и что он, да и не интересуясь особенно этим, я по всему циклу его идей, да и по темпераменту, по границам безбрежного отрицания и безгранично далеких утверждений (чаяний) увидел, что это человек пустыни, конь без узды, – и невольно потянулись с ним речи, как у „братьев разбойников" за костром. Цитадель штурмов был самодовольный либерализм наш, литературный, но затем также общественный и государственный. В те дни он был всесилен, и решительно каждый нелиберал был „как бы изгой без княжества": ни ум, ни талант, ни богатое сердце не давало того, что всякий тупица имел в жизни, в печати, если во лбу

его светилась медная бляха с надписью: „я либерал". Вот эта-то несправедливость, так сказать, мировая, что люди расценивались не „по душам", а прямо „по кастовым признаниям" таких-то убеждений, подняла, и на много лет подняла, всю силу моего негодования против нее: как мы волнуемся же против привиллегированных высших учебных заведений, откуда выходя и без знания, и без сердца, люди уже по одной своей заштампованности получают сразу „IX классный чин" должности. Таким образом источником моего анти-либерального настроения было общее христианское чувство и вместе демократическое (=все люди равны по душам, и добряк-консерватор выше прижимистого либерала) ; а у Леонтьева этим источником был эстетический страх, что либерализм своим уравнительным и освободительным движением подкашивает разнообразие и, следовательно, красоту вещей, социального строя и природы. Но в краткие месяцы нашей дружбы и этой разницы мотивов нельзя (некогда) было рассмотреть. Мы только оба кипели негодованием к либерализму. Таким образом „братья разбойники" были вовсе „не братья", – и это сказалось удивленным и как бы болящим его восклицанием в последних письмах, почти накануне заболевания и смерти. Но если бы мы и окончательно рассмотрели друг друга, я убежден, ничего бы собственно из горячности дружбы мы не утратили. Более всего меня приковывало к Леонтьеву его изумительно чистое сердце: отсутствие всякого притворства в человеке, деланности. Человек был в словах весь – как Адам без одежды. Среди масок литературных, всяческой трафаретности в бездарных и всяческой изломанности в даровитых, он мне представился чистою жемчужиной, в своей Оптиной пустыни, как на дне моря. И до сих пор, не имея ничего общего ни с его сословным аристократизмом, ни с его чаяниями „открыть вторую Америку" в византизме и основать новую разбойническую республику (новую Венецию) на полуразрушенных камнях Афона, я тем не менее сохраняю всю глубокую привязанность к этому человеку, которого позволяю себе назвать великим умом и великим темпераментом. В его уме, в его судьбе, в его сердце жили запутанности, гораздо более занимательные, чем вся ученость Данилевского или Страхова.

Рассматривая по смерти этого монаха его библиотеку, я увидел толстый том с надписью „Alcibiade", – французская монография о знаменитом афинянине. Такого воскрешения афинизма (употреблю необыкновенный термин), шумных „агора" афинян, страстной борьбы партий и чудного эллинского „на ты" к богам и к людям, – этого я никогда еще не видел ни у кого, как у Леонтьева. Все Филельфо и Петрарки проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам, сравнительно с этим калужским помещиком, который и не хотел никому подражать, но был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов, когда он выбежал из зажженного дома возлюбленной. Ум Леонтьева, – скажу, гений его, – был какой-то особенный. Нужно бы приложить снимки с почерка его, этого женского, с едва выраженным нажимом пера, лежачего (очень отлого поставленные буквы), с тонкими, почти острыми загибами, с подчеркиваниями слов или иногда в слове только слогов, которые он произносит резким и острым способом, как женщина чешет косу, откидывая далеко гребень. Этот почерк был очень похож на стиль его (каллиграфически изображал его), нервный и острый, страстный и мучительный. Идеи его были исключительны, и неудивительно, что не принялись. Но вполне удивительно, что он не был оценен и как писатель, как „калибр ума", как „портрет литературный" в галерее нашей словесности. Здесь он занимает, можно сказать, отдельный кабинет, „cabinet noir", без ходов к нему, без выходов от него. Ибо по существу он, как не имел предшественников (*все* славянофилы не суть его предшественники), так и не имел школы. Я впрочем наблюдал, что вполне изолированный Леонтьев имеет сейчас и, вероятно, всегда имел и будет постоянно (до скончания веков) иметь 2–3, много 20–30 в стране, в цивилизации, в культуре настоящих „поклонников", хранящих „культ Леонтьева", понимающих до последней строчки его творения и предпочитающих его „литературный портрет" (сумму литературных и темпераментных качеств) всем остальным в родной и в неродных литературах. Давно, давно следовало бы издать „opera omnia" Леонтьева, но, к сожалению, между его личными друзьями, из которых некоторые обладают значительными средствами,

и денежными, и типографскими, очевидно, он имел лишь приятелей, или заимствователей „нужных для времени" (царствование Импер. Александра III) идей, но не имел настоящего, в излагаемом выше смысле, „поклонника". К несчастью, в личной жизни он, кажется, *сам* больше любил людей, нежели ими был любим. Это тем более печально, что наследники литературных прав его уже сейчас не очень ясны: он не имел прямых потомков, а жена его, если не ошибаюсь, или не жива, или не может распорядиться своими правами литературной собственности по болезни. Таким образом можно опасаться, что изданные в 1885–86 году два тома его сочинений и еще ранее этого изданные *Рассказы из жизни христиан в Турции*, не дождавшись переиздания теперь, попадут в фатальный цикл „пятидесятилетия литературной собственности" и не будут вообще никогда переизданы, ни собраны в фундаментальное „opera omnia". „Fatum" неизвестности, на который он мне горько жаловался в письмах, очевидно, действительно тяготеет над ним. Точно над ним стоит ангел смерти и мешает ему ожить. Во всяком случае, настоящие письма я печатаю не только из благоговения к памяти друга, но и как разрозненные листки, какие имели бы быть вставлены в „opera postuma" замечательного писателя.

Идеи Леонтьева и сложны, и просты. Это был патолог (Л–в был медик по образованию, ученик еще Иноземцева), приложивший специально патологические наблюдения и наблюдательность к явлениям мировой жизни, но преимущественно социально-политической; он отличился вкусами, позывами гигантски-напряженными к *ultra*-биологическому, к жизненно-*напряженному*. Я знал одного очень старого (и немного циничного) доктора, которого во всякую свободную минуту находил за Майн-Ридом (детские книги). На мое удивление этот доктор – поляк, в свое время „потерпевший" и доживавший жизнь в уездном городке – ответил: „Знаете, за день так навозишься с больными, что взять к вечеру рассказ о том, как лошадь возила по прериям всадника без головы (заглавие одного из сочинений Майн-Рида), есть истинное наслаждение: точно откроешь в душе форточку". И о Леонтьеве можно сказать, что его „эстетизм" был синонимичен, или, пожалуй, вытекал, или коренился на анти-*смертности*, или, пожалуй, на *бессмертии красоты*, пре-

красного, прекрасных форм. В „эстетику" он „открывал форточку" из анатомического театра своих грустных до черноты политических и культурных наблюдений, соображений. Старый, как Сатурн (по политике), он начинал прыгать, как молодой козленок, при виде всякой цветной ленточки (в переносном смысле), всякой эстетической черточки в окружающем (любовь его к Вронскому, восхищенность при виде красивых и стройных русских полков в Варшаве, при виде старых сенаторов, склонявшихся в Оптиной перед монахом-старцем). Тут наш Алкивиад пел свою победную песнь; клобук монаха (Леонтьев был тайно пострижен на Афонской горе, что не возлагало на него никакого мундира монашества в миру и мирской жизни) становился прозрачен, невидим. Но вот эстетическая, его радовавшая ленточка кончалась: на фоне появлялся либерал-земец, либерал-адвокат, либерал-журналист. Алкивиад совершенно исчезал: мы имели перед собой черного-черного монаха, в куколе до облаков, с посохом в версту, который дико и свирепо, „интеллигентно"-убежденно начинал дубасить этим посохом по голове либерала, большею частью действительно по голове пустой, приговаривая: „негодяй! разве я не читал Вольтера (Л—в именно в монастырской своей жизни любил перечитывать французских esprits forts, даже не без особенного тонкого сочувствия) читал все, что ты читал, и даже больше, и лучше твоего понял; но как могучий конь любит узду могучего господина, — и я возлюбил власть над собою Господа и целую каждый день руку у этого невежественного и нечистоплотного монаха (*не* об Амвросие), тогда как ты всего только смерд и раб, ползающий неэстетично у ног поганой твоей публики, собрания таких же смердов, как сам ты. За что все вот тебе удар палкою, тебе и твоей публике". И Леонтьев писал пламенно-негодующую статью... в порицание болгарских политиканов, „честных учителей" (=либералов) тамошних, или в защиту игуменьи Митрофании, „которая все-таки была монахиня, а не либералка, да к тому же еще из дворянского рода". „Честные либералы", которые, нужно заметить, всегда были довольно тупоголовы, так и принимали его речи в прямом смысле, докладывая о замечательном и странном публицисте своим читателям, что „вот он выступает защитником таких личностей, как Митрофания, и

противником освобождения Болгарии от турецких зверств". Либералам-докладчикам (или доносчикам) и в голову не приходило, что публицист в куколе есть самое свободомыслящее явление, может быть, за все существование русской литературы; что безбрежность его скептицизма и сердечной и идейной свободы (независимости, вытекания только из субъективного „я") оставляет позади себя свободу Вл. Соловьева, Герцена, Радищева, Новикова. Позволяю себе назвать все эти имена. Все они гораздо более были подчинены давлению окружающих обстоятельств, идей, сословия или воспитания и пр.; все гораздо более „сообразовались" с обстоятельствами внешними, давая место и житейски, и литературно все-же некоторой дипломатической игре. Ее и тени не было в Леонтьеве, который был в трудах своих свободен, капризен, деспотичен, как царственная женщина в беспорядке своей уборной, среди черных невольниц.

Но я все отклоняюсь в сторону *характеристики* от спокойного *изложения его идей*. Он поступил в монашество, стал из неверующего естествоведа христианином, потому что в небесном и абсолютном авторитете положительных церковных доктрин, во-первых, нашел границу для своего философского скепсиса и пессимизма, упор для волн своего ума, которые решительно катились в бесконечность; а во-вторых, в недвижности и консерватизме церковного строя он нашел опору против „разрушительного уравнительного процесса", который его пугал в Европе и России. „О стены монастыря разобьется всякий либерализм; монастырь же – от Бога, и если тоже крушится, то лишь по-видимому, на самом же деле, как небесное учреждение, до светопреставления, до Антихриста устоит; и если устоит, – а не устоять не может, – монастырь, то около него и за ним и вследствие его устоят и красивые варшавские, особенно конные полки, где служит Вронский или его собратья, и на которые я, старый монах и медик, полюблуюсь из далекого окошечка, из кельи Оптиной пустыни, уже с чисто медицинской жизнерадостностью". Вот собственно и весь круг идей Леонтьева, в сущности монотонных; но разберите, читатель, не более ли в смесь этих начал входит разнообразия, чем, напр., в summa idearum Соловьева или Герцена? Именно Соловьев и Герцен были монолитны, при необозримом разнообразии

их деятельности, их литературного выражения. Все „поделки" Герцена и Соловьева – из одной породы камня. В Леонтьеве поражает нас *разнопородность* состава, при бедности и монотонности линии тезисов. Ну, как вы сочетаете Алкивиада и Амвросия Оптинского, пострижение на Афоне и кавалерийские вкусы; медицину и дипломатику; да и еще больше, как узнал я, прочтя всего года два назад его турецко-славянские повести. Леонтьев был первый из русских и, может быть, европейцев, который, говоря языком Белинского, открыл „пафос" (живую душу, настоящий смысл, поэзию) туретчины, ее воинственности и женолюбия, религиозной наивности и фанатизма, преданности Богу и своеобразного уважения к человеку. „Ах ты, турецкий игумен",– не мог я не ахнуть, перечитав у него разговор одного муллы с молодым турком, полюбившим христианку. „Три есть столба, на которых держится мир, – толковал шопотом мулла. – Первый столб золотой и идет до неба: это наше святое и праведное мусульманство. Второй столб поменьше и сделан из серебра: он также хорош. Это – вера Авраама, которую исповедуют собаки-жиды, но Авраам через Измаила был и наш праотец; только жиды не приняли праведного Корана. Третий столб тоже к небу идет и тоже истинный, только покороче тех обоих и сделан из меди. Это христианство". И т. п. И с таким вкусом и знанием, с таким любованием на наивность турка это рассказано, как русский вообще никогда не найдет в себе подобных слов для мусульманина. Наконец, он рассказывает случаи влюбления и житейские нравы турков, и они везде почти выходят мужественнее и героичнее славянских, более, так сказать, похожи на конных солдат в Варшаве, тогда как балканские славяне все похожи на петербургских адвокатов, что для Леонтьева было до последней степени скучно. Тонкими, пластическими штрихами он набросал то, что я назвал бы „законом гарема", т. е. тайну внутренней и теплой, даже горячей-горячей привязанности друг к другу членов семьи в этом, столь непонятном для нас типе семейного сложения. Он показал здесь матерей и жен, умирающих за детей и мужей; влюбленность, которая держится до старости; и все это при правиле (и обычае), когда старая турчанка сама копит и откладывает деньги, чтобы купить на них молодую невольницу крепкому,

нестарому своему мужу: „Я смерила на базаре ее ногу, и выбрала с самой маленькой ступней: ибо красивость ступни есть первое условие красоты женской”. И все эти подробности подбирает афонский монах; это – гораздо свободнее, чем признание некоторых прав за консерватизмом со стороны Герцена, чем обличения печального состояния крестьянства при Екатерине Второй. Это вообще так свободно, как никогда и ни у кого не было в литературе. Дух Леонтьева не знал, так сказать, внутренних задвижек: в душе его было окно, откуда открывалась бесконечность. Древние Афины, современная Турция, Оптина пустынь – все одинаково, как бы в лунном мерцании, проносилось под ногами этого в своем роде киевского бурсака Хомы, на котором сидела чародейка-красавица (*Вий* Гоголя). Не умею лучше, как с этим странным полетом ведьмы и семинариста, сравнить фантастическое (и вместе гармоничное) по составу творчество Леонтьева. „Фу, как пляшет казак, фу, черт, как он пляшет”, – дивился Бульба на первого попавшагося в Сечи казака-танцора. Но танец был, правда, великолепен, естествен, целостен, „гармоничен” по задачам своим и особливому смыслу. Вполне удивительно, что никто-то из критиков не поразился и не признал своеобразных качеств в подобном же словесном танце, – я готов сказать, танце небесной свободы и прелести, – Леонтьева. Это была одинокая и единственная в своем роде душа. „Стиль моего письма недоступен никому, – мог бы сказать этот мастер, бросив предсмертно кисть. – Ни повторить моих картин, ни продолжать моих картин – никто не сможет”.

Мне приятно вспомнить, что посмертно я оказал одну услугу Леонтьеву. Именно, когда в словаре Брокгауза и Ефрона статьи дошли до буквы „К”, то Вл. Соловьев сообщил мне, что статья о Леонтьеве поручена ему. Я стал неотступно просить Соловьева написать как можно больше, страниц шесть; написать основательную статью, ибо ведь это, в таком монументальном словаре, будет увековечением бедного Леонтьева, который при жизни не дождался и сносной критической статьи о себе. В этом духе и очень настойчиво я послал несколько записок Соловьеву. Соловьев был прекрасная по податливости и мягкости душа, да и Леонтьева он сам любил, но все стеснялся „либеральных”

редакторов издания, которые могут подняться на дыбы против большой статьи о „мракобесце" – Леонтьеве. Наши либералы никогда не были остроумны и, имея большею частью в сердце „пять с плюсом за поведение", имеют в голове обыкновенно плачевную „единицу за успехи" (в науках, в понимании, в идейности). Наши либералы – это самая безыдейная часть общества, до грусти, до отчаяния. От Южакова до Михайловского – это стена Петрушек за алгеброй. Но оставим их. В коротенькой записочке Соловьев меня известил с восторгом, что ему удалось провести в „Словарь" характеристику что-то около 6 столбцов, и при убористой, компактной печати и чрезвычайной („словарной") сжатости изложения это выходило цельною литературной характеристикой. Статья эта о Леонтьеве мастерски написана Соловьевым и есть прекрасное общее введение в систему его мышления. Наконец, я считаю полезным упомянуть, что к Леонтьеву всегда чувствовал смесь антипатии и неуважения, смешанного с подозрительностью, Н. Н. Страхов, бывший в душе „честнейшим либералом", свободолюбцем и гуманистом; но еще более, чем Страхов, его не любил Рачинский. Последнему, в устных беседах, я все навязывал Леонтьева, но встречал упорное молчание. Мне известно было, что Рачинский был консерватор, и религиозный, церковный человек; поэтому его молчание приводило меня в недоумение. Наконец, он сказал: „да Константина Николаевича Леонтьева я еще по университету помню, и тогда же мы с ним были знакомы, не близко, но как товарищи; он был на медицинском факультете, когда я был на философском (прежнее смешение естественного и филологического факультетов). Но он сразу же меня оттолкнул некоторыми своими мыслями, приемами, нравственно-смелыми взглядами. Я от него отскочил, как ужаленный от гадюки. Я не спорю, что он отлично пишет и вообще очень талантлив; но я чувствую к нему непобедимое *отвращение* (он сказал с ударением), которое от годов молодости до старости ни в чем не ослабилось". Тихий, не замутимый и незамутненный Рачинский чувствовал в Леонтьеве как бы Мальштрем (ревущий водоворот в Ледовитом океане), и отводил от него в сторону свою утлую лодочку. Леонтьев был несравненно гениальнее его, как и Страхова. Они не любили и почти боялись Леонтьева. Как Хома-философ

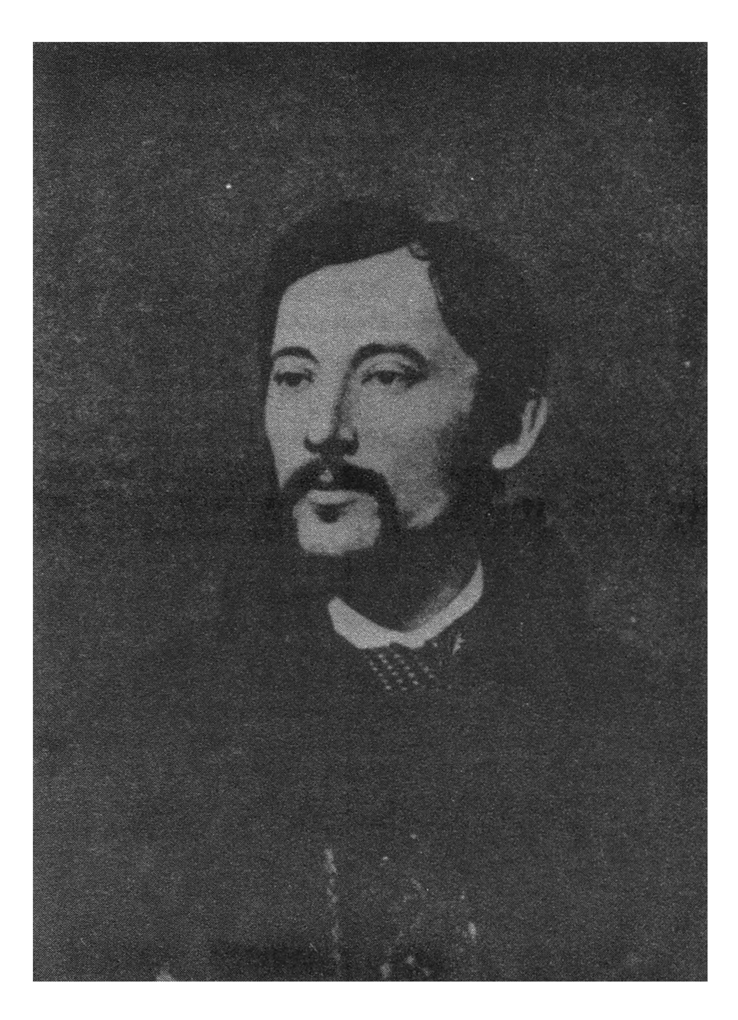
(в *Вие*), спокойно улегшийся на незнакомом ночлеге, испугался при входе ведьмы-старухи (она же оборотень-красавица), они защищались от Леонтьева почти его словами: „нет, голубушка, теперь пост и я скоромиться не хочу". То-же отвращение, негодование, до отказа просто что-нибудь прочесть. В самом деле, и тихая библиотека-квартира Страхова, и прелестное Татево, – ото всего этого и щепок не сохранилось бы, попади они в Мальштрем Леонтьева, эту ревущую встречу эллинского эстетизма с монашескими словами о строгом загробном идеале.

Еще одно слово. Когда я в первый раз узнал об имени Ницше из прекраснейшей о нем статьи Преображенского в *Вопросах философии и психологии*, которая едва ли не первая познакомила русское читающее общество с своеобразными идеями немецкого мыслителя, то я удивился: „да это – Леонтьев, без всякой перемены". Действительно, слитность Леонтьева и Ницше до того поразительна, что это (как случается) – как бы комета, распавшаяся на две, и вот одна ее половина проходит по Германии, а другая – в России. Но как различна судьба, в смысле признания. Одним шумит Европа, другой, как бы неморожденный, точно ничего не сказавший даже в своем отечестве. Иногда сравнивают Ницше с Достоевским; но где же родство эллиниста Ницше, „свирепого", с автором *Бедных людей* и *Униженных и оскорбленных*. Во всяком случае здесь аналогия не до конца доходит: Леонтьев имел неслыханную дерзость, как никто ранее его из христиан, выразиться принципиально против коренного, самого главного начала, Христом принесенного на землю, – против *кротости*. Леонтьев сознательно, гордо, дерзко и богохульно сказал, что он *не хочет* кротости и что земля не нуждается в ней: ибо „кротость" эта (с оттенком презрения в устах Л–ва) ведет к духовному мещанству, из этой „любви" и „прощения" вытекает „эгалитарный процесс", при коем все становятся курицами-либералами, не эстетичными Плюшкиными; и что этого не надо, и до конца земли не надо, до выворота внутренностей от негодования. Таким образом Леонтьев был plus Nietzsche que Nietzsche même; у того его антиморализм, антихристианство все-же были лишь краткой идейкой, некоторой литературной вещицей, только помазавшей по губам европейского

человечества. Напротив, кто знает и *чувствует* Леонтьева, не может не согласиться, что в нем это, в сущности „ницшеанство", было непосредственным, чудовищным, аппетитом, и что дай-ка ему волю и власть (с которыми бы Ницше ничего *не сделал*), он залил бы Европу огнями и кровью в чудовищном повороте политики. Кроткий в личной биографии, у себа дома в квартире (я слышал об этом удивительной прелести, идилличности рассказы), сей Сулейман в куколе, за порогом дома, в дипломатической службе, в цензуре, но главное, в политических аппетитах (на практике ему даны были в руки только мелочи) становился беспощаден, суров – до черточки, до конца. Раз он ехал по Москве на извозчике. „Куда едешь", – поправил возницу полицейский п направил на другой путь; ленивый возница пробормотал что-то с неудовольствием. Вдруг кроткий Леонтьев гневно ударил его в спину. „Что вы, барин?" – спросил тот политического Торквемаду. – „Как же, ты видишь мундир: и ты смеешь не повиноваться ему или роптать на него, когда он поставлен... (тем-то, а тот-то) губернатором, а губернатор – царем. Ты мужик и дурак – и восстаешь, как петербургский адвокат, против своего отечества". Пусть это было на извозчике и в Москве; но важно *вездеприсутствие* и, так сказать, *вечно*-присутствие ideé fixe Леонтьева, из которой он ничего *не сумел бы* забыть и не воплотить, будь он цензором, посланником, министром, диктатором. Это был Кромвель без меча, без тоги, без обстоятельств; в лачуге за городом, в лохмотьях нищего, но точный, в полном росте Кромвель. Был диктатор без диктатуры, так сказать, всю жизнь проигравший в карты в провинциальном городишке, да еще „в дураки". Но человеческое достоинство мы должны оценивать не по судьбе, а по залогам души. И по такой оценке достоинство Леонтьева – чрезмерно, удивительно. Прошел великий муж по Руси – и лег в могилу. Ни звука при нем о нем; карканьем ворон он встречен и провожен. И лег, и умер, в отчаянии, с талантами необыкновенными. Теперь очевидно, что никакие идеи Леонтьева не привьются, и что он вообще есть *феномен*, а не *сила*; так сказать, fata-morgana Мальштрема, а не *он* в действительности. Бог одолел человека;

но человек этот был сильный богоборец. Это об Якове записано, что он „боролся с Богом" в ночи и охромел, ибо Бог, не могши его побороть, напоследок повредил ему „жилу в составе бедра".

В. Розанов



К. Н. ЛЕОНТЬЕВ
1863 г.

13 апреля 1891 г., Опт. п.

(Христос Воскресе!)

Читаю ваши статьи постоянно. *Чрезвычайно* ценю ваши смелые и оригинальные укоры *Гоголю*[1]; это *великое* начинание. Он был очень вреден, хотя и непреднамеренно.

Но усердно молю Бога, чтобы вы поскорее *переросли Достоевского* с его „гармониями", которых никогда не будет, да и не нужно.[2]

Его монашество – сочиненное. И учение от. Зосимы[3] – ложное; и весь стиль его бесед[4] фальшивый.

Помоги вам Господь милосердый поскорее вникнуть в дух реально-существующего монашества и проникнуться им.

Христианство личное есть, прежде всего, *трансцендентный* (не земной, загробный) *эгоизм*.[5] *Альтруизм*[6] же сам собою „приложится". „Страх Божий" (за *себя*, за *свою вечность*) есть начало премудрости *религиозной*.

К. Леонтьев

[1] В первых главах напечатанной в тот-же год *Легенды о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского*. „Укоры" эти действительно у меня были; были прямы и резки и подняли в критике тех дней бурю против меня. Гоголь был священен и, как всегда для толпы, „безукорен".

2 „Гармонии" – всеобщий мир и примиренность на земле; идея „пальмовых листьев и белых одежд" Апокалипсиса („и отрет Бог *всяческую слезу* на земле" – обещание Апокалипсиса, перед „пальмами" и новыми одеждами); вместе – это песнь вифлеемских пастырей, встретивших Рождество Христово: „Слава в вышних Богу и на *земле мир*" и пр. В упор против этой вифлеемской песни Леонтьев, *уже монах*, отвечает: „не надо мира". Это – „ницшеанство". Я впрочем употребляю термин „ницшеанство" лишь для литературной аналогии, считая – ошибочно или нет – Леонтьева и сильнее, и оригинальнее Ницше. Он был „настоящий Ницше", а тот, у немцев, – не настоящий, „с слабостями сердечными".

3 Пантеистическое, благое, доброе. Впрочем, тоже злой человек и уже отделясь теперь вовсе от Леонтьева, я скажу покойнику: „ну, конечно, от *птичек лесных*, от *полевых травок* Зосима взял свою доброту, благость, пантеизм: на афонских задворках он выучился бы только жесткости, сребролюбию и таким порокам, о коих вне обители и не слыхивано".

4 Ну, какой же стиль, если не благостный? Вся Россия удивилась и умилилась величию благости Зосимы. „Не наш, не наш он!" – восклицает Леонтьев от имени православного монастыря. „И правда – не ваш," – отвечаю я и беру Зосиму в охапку и выношу его, а с ним и все его богатство душевное – за стены тихих обителей.

5 Это все очень глубоко. Трепет, *испуг*-за себя – да, вот начало „страха Божия" и „премудрости религиозной". Не даром иезуиты (я видел в *Imago primi saeculi Societatis Jesu*, Antwerpen, 1640 г.) в первую фанатичную пору существования своего изображали „общество Иисусово", как корабль среди бушующих волн. „Только мы спасаемся, – грядите к нам! Вне – гибель!!" До инквизиции отсюда уже вершок расстояния. Ведь и она родилась вся из испуга за спасение; ее гнездо – религиозное отчаяние (францисканцев).

6 В *личной* биографии Леонтьев был *поразительный* альтруист; и это все поправляет в нем, преображает сумрачные идеи его в fata-morgan'у. „Авель, для чего ты надеваешь на себя шкуру Каина? – хочется спросить. – И жмешь руку брата, выкидываешь за борт его „каинство" (=ницшеанство); и, если богат, заготовляешь жирного барана в снедь и усаживаешь за стол его: „Авель милый, ты отощал от каинского мышления: отложи клобук в сторону, вооружись ножом и вилкой и кушай сытно, как Петр Петрович Петух. От хорошей пищи проходят худые мысли".

8 мая 1891 г., Опт. п.

Письмо ваше, Василий Васильевич (как и сами вы, вероятно, могли предвидеть), доставило мне *величайшее* утешение! Вчера я думал ответить вам сначала тольно два слова и приложить, кстати, ту статью об вас г-на Южного (из *Гражд.*), которую вы видите. Так как я слышал, что *Гражд.* имеет ход почти исключительно в одном Петербурге, то я думал, что до вас эта дельная заметка Южного не дойдет. Более подробный ответ на ваше дружественное письмо я откладывал не по нежеланию, конечно, писать вам, но по случайным и неотложным заботам, которые мне угрожали и которые вчера к вечеру разрешились, к счастью, неожиданно и хорошо. Теперь мое время и мой ум свободны, и я могу ответить вам, хоть и не так подробно, как бы желал, но все-таки и не двумя словами...

Не знаю, с чего начать! Вы до того ясно меня (т. е. мои книги) понимаете, что я даже дивлюсь; вы *удовлетворяете* меня, как никто, пожалуй, из писавших мне письма или статьи и заметки обо мне. Разве только тот *Фудель*, которому посвящена моя брошюра о *Национальных объединениях*. Он *священник* православный, *немецкой* крови, и тоже *пережившит* Достоевского, вступил 3 года тому назад со мной в переписку; потом приехал в Оптину, обратился, по моему совету, к от. Амвросию и стал *просто* православным в деле личной веры, без ложных надежд на „гармонии" и при-

верженцем моих взглядов в политике.[1] *Дай Бог, чтобы и с вами то-же случилось*! Вы не пишете мне, какую именно должность вы занимаете при гимназии (думаю, что преподавателя „русской литературы"), – но во всяком случае какая бы ни была должность, по мин. народ. просвещ. у всех есть каникулы и, вероятно, вы свободны от 1-2 июня до 1-2 августа. Отчего бы и вам не приехать сюда в июне или июле? Я не знаю еще человека (а тем более из молодых, *нового стиля*), который не вынес бы от свидания с отц. Амвросием таких *особого рода* впечатлений, которые усиливают *личную* веру и располагают к заботе о *личном* спасении („трансценд. эгоизм", которым я вам так *неожиданно угодил*). И мне было бы в высшей степени приятно познакомиться с вами не на *одной лишь бумаге*. Книгу мою *От. Климент* (а кстати, и исправленную брошюру *Анализ* и *Национальные объединения*), я, как и означено в надписи на обложке, послал вам по совету Ю. Н. Говорухи-Отрока, от которого я получил великим постом письмо. В нем он говорил не между прочим, а главным образом о том, что вы очень довольны моими сочинениями, и советовал мне послать вам и *Климента*, которого вы не знаете. Я так и сделал. Не понимаю только, что за недоразумение вышло между нами тремя?! Он пишет, что дал вам мои книги (я понял так, что это 2 тома *Вост., Росс. и слав.*, ибо я дал ему и NN по *20 экз.*, с просьбой *раздавать* даром, – для пропаганды хорошим людям); а вы пишете, что „насилу розыскали мои 2 тома в моск. книжных магазинах"...

Как это странно! И почему же он *вам-то* не дал, если так, когда у него 20 экз.!![2]

Вы пишете, что *не знали вовсе* моего имени и моих сочинений до тех пор, пока не прочли в „Р.В." *Анализ, стиль и веяние*... И немножко утешаете как будто меня тем, что вы „не очень *сведущи*". Влагодарю за доброе намерение; но поверьте, не нужно быть „малосведущим", чтобы не знать меня. Не вы первый „открываете" меня, как Америку, несмотря на то, что я публицистикой стал заниматься серьезно с *73-го* года (*Панславизм и греки*); романы из новогреческой и отчасти турецкой жизни стал печатать у Каткова с 68 года (повесть *Хризо*) и почти все эти повести и романы были

изданы отдельно в 76-м, кажется, году и, наконец, *Вост., Росс. и слав*. было издано в 85 и 86 году. (Я не говорю уже о плохих повестях и романах из *русской жизни*, которых я напечатал несколько в 61, 63 и 66 году.) Почему это так? Не знаю... Многие из сочувствующих мне пытались объяснять это и тем, и другим, но, по моему, это объясняется, с одной стороны, очень просто: *мало обо мне писали другие*, мало порицали и мало хвалили; мало нападали и мало выражали сочувствие; т. е. было *вообще мало серьезных критических отношений*...[3]

Да, с этой *внешней* стороны – дело просто; но когда спросишь себя: *да почему же* мало писали и противники, и единомышленники, и на 1/2 согласные, – то здесь уже решение очень трудно! Я не могу вам перечислять здесь все мелкие факты, все странные случаи, все необъяснимые поступки одних и все таинственные „уклонения” какие-то других; наприм., того самого Н. Н. Страхова, к которому вы обратились с вопросами обо *мне как раз не вовремя*; ибо я несколько месяцев тому назад, именно за 30-летнюю его противу меня недобросовестность, послал краткое открытое ему письмо со словами псалма: „*уклоняющегося от меня лукавого не познах*” (т. е. не буду с ним *связываться*, водиться больше). В самом деле, если придется нам, когда-нибудь увидаться, то я расскажу вам про его ко мне отношение удивительные вещи! Именно удивительные, ибо личного столкновения между нами не было никогда (до этого моего открытого письма, – как заключения 30-летнего знакомства и во многом единомыслия)... Расскажу и много других фактов, которые вас удивят и даже, вероятно, опечалят; но объяснить их можно, во-первых, только древней поговоркой „habent sua fata libelli”; а во-вторых, *по-Оптински*: „Божья воля!” Разумеется, что последнее объяснение лучше всех, не потому только, что оно душеспасительнее и богоугоднее, но и потому, что оно всех глубже и вернее; повторяю, *факты* до того странны и исключительны, что только Божим „смотрением” их можно объяснить. Для Бога всякая „душа” важна: „Бог хочет всем спастися и *в разум истинный* прийти”, – говорит Церковь (даже в катехизисах, которые нами, к сожалению, не ценятся, и в которых, однако, содержится *решительно все*, что христианину необходимо!)

Это так; но *почему это* на жизни одного человека весьма видна нить, за которую Господь выводит его из лабиринта его собственных страстей и умственных блужданий, а на жизни другого проследить ее труднее, – не знаю! Да и кто знает это? И *не нужно вовсе* нам все знать и все понимать!! Я знаю только то, что *моя* нить Божия смотрения очень ясна; нередко до малейших изгибов! Бог Сам знает, кому что и *в какое время* дать. Я *прежде* был так самонадеян, и сильное воображение мое могло так далеко завлечь меня куда-нибудь, куда не нужно, – что Господь, по бесконечному милосердию Своему, долго *мешал* (я так думаю) даже и сочувствовавшим мне людям *печатать* обо мне и усиливать мою известность; „сила Божия, ведь, когда нужно, и в немощах наших познается"; один *ленился* взяться за дело серьиозно; другой был робок характером; третий очень занят; четвертый был просто недобросовестен или питал ко мне личное отвращение... И все это в течение 30 лет так мало-помалу меня „осадило" и „отрезвило", что оказалось истинным мне благодеянием!... Оно и больно было; да мало ли что! Христианское учение (настоящее, а не *Фед. Мих*...) иногда *весьма* сурово и страшно, что делать! Но раз *безбоязненно* и *безусловно* принятое по *простому* и *старому катехизису* (одобрен. *Св. Синодом – да! да!*), оно дает такие *мощные* опоры, такие удивительные утешения (*косвенно* – иногда даже и для бедного, многострадального самолюбия нашего) каких никакая другая философия дать не может. Так *нужно* было меня выработать, и для этой цели пригодились и в друзьях, и в критиках и русская лень, и общечеловеческий эгоизм, и опять-таки специально-русская *умственная* робость, русское предательство не всегда даже по злобе, а чаще по вялости и легкомыслию... А теперь, когда мера духовного воспитания исполнилась, вот уже 5-6 лет все чаще и чаще, все серьезнее и серьезнее стали упоминать мое имя...[4] Даже и за границей раза два-три помянули.[5] И сверх того, прибавлю, и в самое неблагоприятное для меня время Богу, видимо, было неугодно, чтобы я впал в уныние, чтобы я счел себя решительно бесполезным и бездарным, потому что те самые люди, которые не хотели потрудиться для поддержки меня в печати, – „приватно", чуть не „по секрету", в *частных ко мне письмах* и в заглазных

беседах, почти превозносили меня. Так делали Влад. Серг. Соловьев, Фет, Влад. Андр. Грингмут и многие другие! *Даже* и этот самый Ник. Никол. Страхов... например. А ведь все это люди один другого лучше, один другого умнее, один другого образованнее и т. д... Если бы *напечатать* все то, что я слышал от них на словах и что написано в их письмах, так это забыться от гордости можно... А в печати – ни-ни!..

Видите, как видна *телеология* духовного Промышления: ни отчаиваться, ни пренебрегать собой, как писателем, мне нельзя; приватно *превозносят*; ни – испортиться от ранней и быстрой славы или удачи нельзя-же; *публично обходят* молчанием или (как Вл. Соловьев) с большим уважением поминают имя, но всегда мимоходом и очень кратко.

Иначе объяснить все это я не умею: да и не вижу пользы.

Довольно об этом: об *этом* чем меньше говоришь, тем лучше! И вам, я думаю, при всем вашем сочувствии, другие предметы будут интереснее.

О „пороках русских" напишу я вам в другой раз... Коротко и ясно замечу только, что пороки эти очень большие и *требуют большей*, чем у других народов, *власти* церковной и политической. То есть *наибольшей меры* легализованного внешнего *насилия* и *внутреннего* действия *страха* согрешить. А *куда* нам „любовь"! *Народ* же, выносящий и страх Божий, и *насилие*, есть *народ будущего*, ввиду общего безначалия... *Ясно*? Если не ясно, еще потом объясню. Если желаете, то я пришлю вам мои *новогреч. повести, только на прочтение*, с возвратом, ибо у меня другого экз. нет...[6]

Писать письма к друзьям я ничуть не тягощусь, но не всегда могу; болезнен и приучил себя к строгой *очереди* в занятиях. Не берусь за другое дело, не окончив какого-нибудь первого; через это бывают отсрочки, даже вопреки охоте сейчас ответить.

Хорошие мои портреты все розданы: когда получу новые снимки с того-же негатива, пришлю вам, а пока, чтобы удовлетворить вашему желанию видеть мое старое лицо, посылаю вам *слишком черную*, неудачную фотографию; все-таки понять и по ней можно, какое у меня лицо. Смолоду я был хорош, а теперь слишком много морщин, Это почему-то физиологическое свойство у людей нашего класса иметь в старости много *мелких* морщин на лице... У мужиков, у

монахов „из простых" и у людей белого духовенства этого нет... Их старость гораздо благообразнее... Морщины *крупнее*, кожа *свежее* нашей.[7] Заметьте, это так.

На этот раз прощайте. Пишите, сколько угодно, когда хочется; не всегда тотчас отвечу, но всегда буду очень рад.

Отвечаю на ваши объятия, сколько сил осталось!..

Ваш К. Леонтьев NB. (*Константин Николаевич*)

P.S. *Холостой* вы или *женатый*?

Если женатый и если задумаете в Оптину приехать, то не берите с собой *на 1-й раз* супругу вашу, какая бы она прекрасная женщина ни была. Знаю, по прежнему опыту, как полезно в хорошем монастыре пожить неделю, месяц *одному*, и как отвлекают *именно близкие люди*,[8] приехавшие с нами, наше внимание от тех впечатлений и дум, которых влияние так дорого. Позднее – другое дело...

Хотя в статье вашей о *Великом Инквизиторе* многое множество прекрасного и верного, и сама по себе *Легенда* есть прекрасная фантазия, но все-таки и оттенки самого *Дост.* в его взглядах на католицизм и вообще на христианство ошибочны, ложны и туманны:[9] да и вам дай Бог от его *нездорового* и *подавляющего* влияния[10] поскорее освободиться!

Слишком сложно, туманно и к жизни неприложимо.

В Оптиной *Братьев Карамазовых „правильным правосл. сочинением" не признают*, и *старец Зосима ничуть ни учением, ни характером* на *отца Амвросия не похож*.[11] Достоевский описал только его наружность, но *говорить* его заставил совершенно *не то*, что он говорит, и не в *том стиле*, в каком Амвросий выражается. У от. Амвросия *прежде всего* строго *церковная мистика* и уже потом – прикладная мораль. У от. Зосимы (устами которого говорит сам Фед. Мих.!) – прежде всего мораль, „любовь" и т. д..., ну, а мистика *очень* слаба.

Не *верьте* ему, когда он хвалится, что знает *монашество*; он знает хорошо только *свою проповедь любви* – и больше ничего.

Он в Оптиной пробыл дня *два-три всего*!..

„Любовь" же (или проще и яснее *доброту*, *милосердие*, *справедливость*) надо *проповедывать*, ибо ее мало у людей, и она легко гаснет у них, но не должно *пророчить* ее *воцарение на земле*. Это *психологически*, *реально* невозможно, и *теологически* непозволительно, ибо *давно* осуждено церковью, как своего рода *ересь* (*хилиазм*, т. е. 1000-летнее царство Христа на земле, *перед концом света*). Смотри *Богословие Макария*, т.V, *стр. 225*, изд. *1853 г.*[12]

Аминь.

1 Фудель – очень умный, сурово-умный человек, но без блеска, без аромата, без гениальности. Он воспроизвел Леонтьева в себе, как деревянная доска – гравюру с живого дерева (=Леонтьева). Именно на Фуделе, может быть, лучше всего можно проследить: „ну, что же вышло бы с идеями Леонтьева *вне Леонтьева*? Вне его *личной доброты* и таинственно с монашеством сопряженного эллинского эстетизма?" Фудель в самом христианстве понимает только суровость, черствость, дисциплину. Он, приехав в Петербург, читал здесь публичную лекцию о необходимости поднять, так сказать, „духовные возжи"; а в одном споре со мной – по какому-то теоретическому поводу – открыл какой-то одобренный училищным советом при синоде учебник и сказал: „Вот *тут написано*, чего же вы *спорите*". Я мог бы только ему улыбнуться. Если бы он потребовал объяснения улыбки, я бы ему ответил далее, что *слово Божье* есть все основание моей и *его*, да и вообще *европейской* веры, и что была какая-то темная история с знаменитым протоиереем Павским: его хотели лишить сана за опыт *точного перевода* с еврейского языка книг Библии. –

О. Фудель, по-видимому, мало знаком почтенному автору, которому, в противном случае в силу своей правдивости вынес бы убеждение, что названный священник умом, сердцем и жизнью проявил христианнейшие черты. Прим. Ред. *Русского Вестника.*

2 Ужасная путаница: два тома *Востока, России и славянства* едва были для меня разысканы в московских книжных лавках; это было за полгода или за год до этого письма. А „приятели" Леонтьева, которым он поручил „даром раздавать и пропагандировать его два тома", преспокойно бросили их на чердак, сказав: „а, ну их! конечно, отличные, но не на базар же их вывозить.

Там – торг, все съедобное, и мы сами там полакомимся, но возиться с этою фараоновой коровой, с Леонтьевым, – Бог с ним. Старик наивен и поверит, что мы покою ими не даем знакомым и незнакомым".

3 Нет, тут еще причина, фатальнее и глубже. После смерти Л–ва *сейчас* же появились обширные журнальные статьи о нем: моя – в четырех книжках *Русск. Вестн.*, январь– апрель 1892 г., и, года два спустя, в *Вестнике Европы*, в *Русской Мысли*, в *Русском Обозрении* и *Вопросах философии и психологии* целый ряд статей, то полемических, то анализирующих, А. Александрова, кн. С. Трубецкого, П. Милюкова, Л. Тихомирова, Фуделя. И все-же в результате – *ничего, никакого общественного внимания*. Кроме своей библиотеки, я никогда и ни у кого не встречал в библиотеке сочинений Леонтьева. Его имя в обществе если и известно, то *по наслышке*, а не *по чтению*. Я не могу этого объяснить иначе, как следующим, несколько *колдовским* способом. Известно, что в жизни (и в истории) большую роль играют так называемые *нечаянности*. Природа (творческие ее силы) любит как бы *удивлять* человека, видеть его *удивленное* лицо. Поэтому чего мы особенно сильно *ожидаем*, или *желаем*, очень часто, до странности часто, *не исполняется*. Л–в, во-первых, имел право на огромное влияние, и, вероятно, первые годы, не сомневаясь, *ждал* его, а потом с каждым годом все мучительнее желал – и тоже *ждал*. Может быть, в истории литературы это было единственное *по напряженности ожидание успеха*; и природа, так сказать, скучая произвести до утомительности подготовленный факт, просто ленилась подойти к этому колодезю ожидания и положить цветок в давно протянутую руку. – „А, ты все ждешь?! Бедный! Вот, сейчас; только я сперва подбегу к этому сонному человеку, которому и не брезжется, что он когда-нибудь будет известен, и раззвоню его имя по всем уголкам вашей России". Годы проходили; Лейкин славился, Гайдебуров гремел, Стасюлевич и Пыпин выросли в отечественные величины. „Ну, что же мне?" – измученно пищал из Оптиной Леонтьев. „Ах, это – ты! ах, это – все он, – говорила Natura-Genitrix. – Правда, надо бы ему помочь, но такая невыразимая скука подойти к этому натруженному месту, натруженной думе, которая по пальцам сочла и перечла все свои шансы и вероятности на успех. Ну, и помогу ему, но завтра; а сегодня свернусь в клубочек и отдохну, ибо и без того уже помогла десятерым". И не наступало этого „завтра", не наступило вовсе.

4 Ну, уж „упоминать"... Так и до сих пор, до 1903 г., кроме „любителей", имя Леонтьева, К. Н., куда менее известно, нежели одно-

фамильца его, Леонтьева – друга Каткова, составителя *Латинского словаря.*

Удивительно! удивительная *степень* ожидания!! Если бы Л–в вдруг *забыл* возможность славы (исчезло душевное в эту сторону напряжение), как бы заспал ее, – то она сейчас, мне кажется, и вошла бы к нему. *Она все время стояла у дверей его*, но ожидала, пока он перестанет смотреть на нее. Но он не переставал сюда смотреть, и так утомил „гостью", что, отойдя, она даже не вспомнила о нем и тогда, когда он умер, и что теперь можно бы его прославить. „А, тот несчастный все скребется в дверь: не отопру". Но это уже не он скребется, а мыши в его могиле.

Много лет не читав беллетристики и как-то, за исключением великих мастеров, не уважая ее, я так и не попросил у Леонтьева его повестей, думая, что это нечто „средненькое". И никогда не искал с ними знакомства, пока случайно, года два назад, не наткнулся на них, в старинном издании, чуть ли не шестидесятых годов. Но едва я начал их читать, как поразился красотою и художественной верностью живописи. Молодые греки, мечтающие о парламенте, молодые боярыни греческие, вспоминающие об Аспазии, грубые, суровые, старые турки-паши, большой родовой быт славян, и торговля, везде торговля, и деньги, в перемешивании с разбойничеством (в горах), – все дает великолепную панораму Балканского полуострова перед самым освобождением. Удивительно, что они не переведны на греческий и южнославянские языки. Но когда-нибудь они там станут родною книгой, *своей* отечественной, ибо схватили портрет национальностей в минуту, когда национальной литературы не существовало иначе, как в форме народного песнотворчества. С тем вместе политические идеи Л–ва сквозят везде и здесь; но, одетые в плоть и кровь, они нигде не жестки. Напр., „либералов" греков, молодых университантов, он рисует чуть-чуть разве смешными, но вместе такими грациозными и миловидными, что нельзя оторваться от зрелища. И всю картину любишь и уважаешь.

Как все замечено! Какая наблюдательность! Страхову или Рачинскому просто не пришло бы на ум *посмотреть* на это. Иное дело эстету Л–ву: ему дай *лицо* и затем уже начинай „о душе". Я говорю, Алкивиад в нем не умирал, – с длинными волосами, вечно нравившийся женщинам.

Да, *любовь к родному* отвлекает „от нас" (аскетов, аскетизма); а как любить „нас" непременно нужно, – то *оставь родное*, сперва хоть на время, а потом, смотря, как обстоятельства

сложатся, – может быть, и навсегда. Таков исторический, тихонький, вполголоса припев аскетизма. „Хочешь поцеловать детей? На, лучше поцелуй набалдашник моего посоха".

9 Этого нельзя отрицать. Сперва *Легенда* поражает блеском и глубиной; *афоризмы* из нее и навсегда остаются глубокими, прекрасными. Но только афоризмы: в целом Д–ский построил совершенно невозможную (и неверную) концепцию христианства и церкви, говорит о не бывшем, как о бывшем, а может быть, главного-то в *бывшем* и не заметил. В конце концов *Легенда* и основной ее замысел даже банальны: все съезжает на трафарет вечного плача: „все *люди* (=инквизиторы, католики) испортили, нагадили, и из золотого зерна безмерной цены *вырастили* крапиву". Но нам думается, как бы злоумышленник-садовник ни старался, или как бы он глуп и, наконец, пьян ни был, все же из яблочка выростет, хоть и кривая, но *яблонька*, и если уж поднялась крапивка, то верно из крапивного зерна.

10 Д–ского я читал, как *родного*, как *своего*, с 6 класса гимназии, когда, взяв на рождественские каникулы *Преступление и наказание*, решил ознакомиться с писателем для образовательной „исправности". Помню этот вечер, накануне сочельника, когда, улегшись аккуратно после вечернего чая в кровать, я решил „кейфовать" за романом. Прошла вся долгая зимняя ночь, забрезжило позднее декабрьское утро: вошла кухарка с дровами (утром) затопить печь. Тут только я задунул лампу и заснул. И никогда потом *нервно не утомлял* меня (как я слыхал жалобы) Достоевский. Всего более привлекало в нем отсутствие литературных манер, литературной предвзятости, „подготовления" что ли, или „освещения". От этого я читал его как бы записную книжку свою. Никогда ничего непонятного я в нем не находил. Вместе с тем, что он „все понимает", все видит и ничего не обходит молчанием, уловкою, – меня в высшей степени к нему привлекало. Но, я думаю, в конце концов Д–ский *себя сам не понимал*, т. е. не знал того, *из какого* он зерна растет и *куда* растет. В последнем анализе и, так сказать, при последнем ударе аналитического резца, он отступал назад; это – везде. Он – *ослабевал*. Между тем надо было только на шаг еще дальше продвинуться, а затем „на другой ключ" перестроить все струны арфы, – и получилась бы та чудная мелодия, „гармонии", которые он чувствовал как бы сквозь сон, но их въявь и пробужденно никогда не увидел. Его считают иногда „жестоким" (в идеях, в картинах). Может быть, „новый ключ" арфы и заключался в тоне кротости, в замене тона негодования, презрения, насмешки, – в котором ему надо было рисовать, пожалуй, ту же

„живую фотографию" (есть такие детские картинки), какие он рисовал. Тон детства надо ему было взять взамен тона *старости*. У него взят почти всюду тон старости, даже тон брюзжащего старикашки.

11 Леонтьев, в оценке этого факта, многого не принял во внимание. Прежде всего, Д–ский, не менее Л–ва *странный* и *самостоятельный, удался* в литературе и горит на небосклоне ее огромною (и вещею) кометою, с бесчисленными искрами хвоста ее. *Вся* Россия прочла его *Братьев Карамазовых*, и изображению старца Зосимы *поверила*. От этого произошло два последствия. *Авторитет* монашества, слабый и неинтересный дотоле (кроме *специалистов*), чрезвычайно поднялся. „Русский инок" (термин Д–го) появился, как родной и как обаятельный образ, *в глазах всей России*, даже неверующих ее частей. Это первое чрезвычайное последствие. Второе заключалось в следующем: иноки русские, из образованных, невольно подались в сторону *любви и ожидания*, пусть и неверных, какие возбудил Д–ский своим старцем Зосимою. Явилась до известной степени новая школа иночества, новый тип его: именно – любящий, нежный, „пантеистический" (мой термин в применении к иночеству). Явился, напр., тип монаха – ректора заведения, – просто не знающего личной жизни, личного интереса; живущего среди учеников буквально, как отец среди детей. Если это не отвечало типу русского монашества 18-го – 19-го веков (слова Леонтьева), то, может быть и даже наверное, отвечало типу монашества 4-го – 9-го веков. Вот чего не принял Л–в во внимание.

12 Ну, тоже все „авторитеты". Тут смотри, кто у кого понадерган, который компилятор у которого: „инде из немцев, инде из англикан, инде от латинцев, – хоша они и папежники, но грамоте больше и раньше нас научены". Все это богословствование из книги в книгу с каждым новым переписыванием все разжижается. Истины религиозные самовозжигаются из опыта. И кто „на кресте" (биографическом) не бывал, тот и Бога не узрит. „Голгофа" таким образом имеет свой смысл – источника великих откровений; только ее *сам* переживи и никогда, никогда другому ее не навязывай. Лучше пройди мимо и Голгофы, и откровений. Но если случится на нее взойти, то вот, отверзутся очи твои на многое неожиданное. Ошибка исторического христианства заключалась главным образом в том, что, поджимая под себя хвост при виде страдания, однакоже находились (и всегда находились) трусливые, говорившие: „я боюсь, а ты, *однако, пойди*". Не *само*-страдальцы испортили его, но то, что на их путь стали звать вообще человечество сытенькие. Леонтьев свое

страстное и острое монашество вынес из десятилетий биографического уныния, о котором слишком ясно в приведенном письме говорит (что значит *для писателя*, и урожденного, с призванием, – почти не быть даже и читаемым!). Но что, если бы начинающему писателю не только посоветовать, но и фактически, творчески создать, обусловить полную и навсегда судьбу: остаться вовсе в безвестности. И еще с присказкой: „ничего, зато вы спасетесь, станете, может быть, монахом; в немощах ваших сила Божья скажется". Затем, естестенная жизнь человеческая, и именно в миру, среди людей, имеет уже сама в себе *естественные* страдания, роковые, неустранимые. Главным образом, это суть: болезни, смерть, бедность, изнеможение в труде, разочарование в близких людях. Их всех не знает, не несет монашество; этот *легчайший*, беспечальный и беспечный, *путь жизни* (только одна „скорбь": не касаться женщины). Что значит, напр., для родителей потерять девятилетнего единственного ребенка, уже столь возлюбленного, на котором висит, можно сказать, весь смысл дома их, жизни, биографии, быта!! Монах этого не знает! Что, далее, значит любящей жене вдруг узнать о неверности мужа, мужу – о неверности жены!! Как потрясается вся жизнь. Через душу переехал поезд, оставив тело живым, – вот сравнение! Поэтому, если аскеты говорят (как деревянное правило), что „надо искать скорбей", или „не убегать скорбей", то именно потому, что они вовсе и не знают скорбей иначе, как в форме грибного стола во все посты и пресловутого „некасания женщины". Отсутствие и незнание *настоящих* „скорбей" и заставило их так легко обходиться с их идеей. Голгофа есть в жизни, неизбежна. И *еще* увеличивать ее, искать – *грех*.

24 мая 1891 г., Опт. пустынь

Очень рад, Василий Васильевич, что мой неудачный, черный портрет удовлетворил вас, – только, поверьте, „черт не так страшен, как его рисуют!"... Я вовсе (увы!) не „мрачен" на деле. Очень желал бы быть *природно*, естественно мрачнее; это *выгодно* в жизни; к несчастию, я лично не только весел, но даже и очень легкомыслен. А если в сочинениях моих много мрачного, то это уж не мой личный характер, а *правда жизни самой*, на которую ранние занятия анатомией, медициной, зоологией, ботаникой и т. д. приучили меня смотреть объективно, т. е. по возможности независимо от моего личного характера и личных обстоятельств. Так мне кажется, а впрочем себя судить трудно, и я могу ошибаться в понимании *источников* такой комбинации; *сам* веселый и даже нередко легкомысленный, по воззрениям пессимист (впрочем, „оптимистический", т. е. „слава Богу, что не хуже", „страдания полезны" и т. д.). В понимании *источников* могу ошибаться, но самый *факт* сочетания этого верен.

Так себя и рекомендую на случай личного знакомства.

Дальше и я буду вам отвечать вам по пунктам.

1) *Вы женитесь*! Дай Господь мир и любовь. Не знаю, какова ваша невеста, но расположившись к вам за ваше ко мне заочное и *неожиданное* сочувствие (вы догадываетесь, конечно, что я этим не избалован, как Толстой и Достоевский) и замечая и по статьям вашим, и по письмам, что вы

человек, *глубоко все чувствующий*, молю Бога, чтобы Он подкрепил вас на этом, столь скользком в наше время пути! Главное для меня, *самое главное*, чтобы вы *прежде невесты успели поставить ногу на венчальной коврик*! Вы, конечно, знаете, *что* это значит?

Один 40-летний супруг, жену свою любивший неизменно и нежно в течение 20 лет, и вполне ею довольный, говаривал мне, однако, не раз: „Муж должен быть главою, но пусть хорошая жена вертит им так, как *шея* вертит *голову*. Кажется, будто голова сама вертится, а вертит ее шея; не надо, чтобы жена видимо командовала, это скверно". И я совершенно с ним согласен.

Мы давно уже привыкли к улыбочкам и шуточкам при чтении свадебного апостола, когда диакон возгласит: „А жена да *боится* мужа своего!" А шуточного или „несовременного" тут нет ничего. Хорошая жена должна хоть *вид* подчинения показывать, если у нее и нет настоящей боязни. Разумеется, и у апостола Павла тут дело идет не о том, чтобы у всякой жены ноги подкашивались от страха при взгляде на мужа, но о *духовном страхе*, о страхе согрешить не только изменой, но и всякими мелкими сопротивлениями и *словесными* оскорблениями, на которые так падко большинство женщин. (Особенно они стали падки до этого в 19-м веке, с тех пор, как их стали, к *сожалению*, реже за это *бить*!) Мужчина мужчины боится (*всякий*, хоть до известной степени); у мужчин *слова* не шутка, – во всех классах общества пощечина, кулак, топор, поединок, – *все это помнится* очень хорошо. Но *нынешние* женщины привыкли безнаказанно говорить мужьям, любовникам, братьям, знакомым, даже отцам или воспитателям такие вещи, за которые телесное наказание весьма еще слабое возмездие. Ибо боль от телесного наказания скоро проходит, а боль от некоторых слов бывает так глубока, что *десятки* лет дает себя, при случае, опять чувствовать. Я не верю даже, чтобы самый искренний христианин мог *вполне забыть* **эти** обиды; он может *простить* (и то после долгих *молитв* и *размышлений духовного рода*, иначе он пустой человек); может не мстить, даже с радостью заплатить добром; но *боль* и *негодование* при случайном воспоминании останутся навсегда! Дай Господи, чтобы ваша будущая супруга была в этом отношении одной из тех

исключительных женщин, которых и мне посчастливилось *изредка* встречать. Встречал, но мало, а больше несносны! Трудная вещь брак! Труднее монашества, уже потому, что монашество прямо имеет в виду тернии, а на этих терниях все-таки расцветают, хоть и не розы, ну, а мелкие и весьма иногда милые и душистые цветы неожиданных утешений; брак же с привлекательной девушкой, разумеется, в первое время похож на венок из роз и жасминов, но тем ужаснее колют шипы его!

Смолоду я сам был пламенный защитник женщин, но к 1/2 жизни я жестоко разочаровался в них и перешел на сторону мужчин. Недавно мне случилось присутствовать при беседе одной дамы с молодой, но очень умной служанкой, весьма при этом доброй и религиозной. Дама начала бранить мужчин, а молодая служанка (сама замужняя) возразила ей на это: „Однако, правду сказать, и у нашей сестры много *подлости* есть!" Я ее чуть не обнял за это!

Конечно, все, что я пишу, – не совсем „свадебно" и празднично, и я прошу вас простить мне этот „cri de l'âme". *Насмотрелся*, *особенно* в России (на Востоке женщины посдержаннее), и не скажу – *теперь*, а даже с ранних лет!

Прошу вас, какова бы ни была ваша невеста, – *станьте первый на коврик*... Если она кроткая,[1] ей это понравится, если вспыльчивая, тем *нужнее это*. У меня прошлого года была напечатана в *Гражд*. статья *Добрые вести*, в 4-х главах, о современном, *весьма* сильном религиозном движении в среде русской образованной молодежи (идут в священники, в монахи, ездят к старцам, советуются с духовниками, решаются даже поститься; Достоевским, слава Богу, уже не удовлетворяются, а хотят *настоящего* православия, „мрачно-веселого", – так сказать, *сложного* для *ума*, *глубокого и простого* для сердца и т. д.). Трех первых глав у меня нет, а есть одна IV; в ней говорится о религиозности женщин, о семье, о монастырях, которые посещать нужно, и т. д. Позвольте мне предложить эту главу невесте вашей, как свадебный подарок. Кто знает, – может, и *пригодится*. А пока пришлите мне, пожалуйста, и вашу фотографию, и фотографию невесты. Хочется *вообразить* и никак не могу.

Теперь – 2). Вы пишете, что подозреваете и Страхова, и Соловьева в „*зависти*".[2] Избави Боже вас это думать, особен-

но про Влад. Соловьева. В Соловьева, как в человека, я влюблен (хотя ужасно недоволен им за его наверно *лживый* переход на сторону прогрессистов и Европы). И он, – я имею этому доказательства, – меня *очень* любит лично; у нас были *особого рода* условия для личного сближения, между прочим, мое короткое знакомство с человеком, к которому он давно привязан. Я не могу сверх того вообразить даже, чтобы человек, который во всех отношениях выше меня, стал бы **мне** завидовать! В чем же? Помилуйте! Не в *успехе* ли?![3] Я, конечно, с другой стороны не могу не считать себя *правее* его в моих воззрениях на веру, жизнь России и т. д. Иначе, зачем бы я писал (не видя, вдобавок, даже и тени справедливости к себе со стороны серьезной критики)? Но ведь *правильность и правда взгляда* не значит еще превосходство таланта и познаний? Эти последние на его стороне, *бесспорно*. Чему же завидовать: дарований и знания у меня меньше[4] (разве он этого не знает?), годов гораздо больше, т. е. силы и охоты к борьбе гораздо меньше, а успеха, популярности, даже простой известности – очень мало. А не писал он обо мне (т. е. он не раз и с большой похвалой упоминал обо мне, но всегда мимоходом, а не специально) по двум главным причинам: во-первых, по разным случайностям (fatum!) вроде хоть *вашей* же (начали статью и *бросили*,[5] *женитьба, экзамены* и т. д. Разве не fatum?), а во-вторых, именно потому не решался писать, что *лично* очень любит меня, а между тем сам признавался, что мягко писать против большинства моих идей ему трудно; начал прошлого года специальную статью, но *бросил*, побоялся оскорбить человека, резко разбирая писателя. Я сказал ему, что только пусть не слишком *злится* (как на других), а пусть пишет так, как думает и как говорит мне же на словах, при свиданиях.

Недавно я получил от него письмо, где он сообщает, что скоро появится (вероятно, в *Русск. Мысли*) статья *Идейный консерватизм*, где главная речь будет обо мне... Интересно! Ожидаю и одобрений, и порицаний самых резких (за ненависть к Европе, за излишество эстетики во взгляде на жизнь, за *неподвижность* в *старом* православии и т. д.).

Очень бы интересно и *вашу* статью прочесть. Не пришлете ли вы мне ее в рукописи, как есть? Это было бы мне **большим** утешением в моем одиночестве. **Вы** (да еще двое-трое *моло-*

дых людей) понимаете меня *именно так, как я желал всегда быть понятым.*

Как вам кажется, – я думаю, это для меня-то не *шутка*!.. И можно позаботиться даже и за два дня до свадьбы упаковать и прислать рукопись. Почерк ваш я разбираю хорошо. Да коли хвалите, так уж тщеславие научит догадаться!

3) *Брату* вашему книги мои пошлю, как только получу из Москвы несколько экземпляров.

4) Вы желаете, чтобы я вам побольше написал о Страхове. Простите, не *хочется*! Я всегда имел к нему какое-то „физиологическое" отвращение; и очень может быть, что и у него ко мне такое же чувство. Но разница в том, что я всегда *старался* быть к нему справедливым (т.е. к *сочинениям* его) и пользовался всяким поводом, чтобы помянуть его добром в печати: советовал молодым людям читать его, дарил им даже его книги, а он ото всего подобного по отношению ко мне всегда уклонялся, и примеров этой его недобросовестности я могу при свидании (о котором *мечтаю*!) рассказать вам много. Но и *в нем зависти собственно* ничуть не подозреваю. Хотя *его-то* с его *тягучестью и неясностью идеалов*, я уже никак не намерен считать выше себя (подобно тому, т. е., как считаю Владимира Соловьева, несмотря на его заблуждения и *прогрессивное* иезуитство), ибо доказателен ли я или нет, не знаю, но знаю, что всякий умный человек поймет, чего я хочу, а из Страхова никто ничего *положительного* не извлечет, у него все только тонкая и верная критика, да разные „уклонения", „умалчивания", „нерешительность" и „притворство". Но ведь из того, что я считаю его по всем пунктам (за исключением *двух*: систематической учености и умения *философски* излагать) ниже себя, не следует, что и он в этом со мной согласен. Я думаю, *наоборот*, он себя считает гораздо выше: иначе он писал бы обо мне *давно*. У него есть *три* кумира: Аполл. Григорьев, Данилевский и Лев Толстой. Об них он писал давно, много и настойчиво, о *двух первых* даже *он один*, и писал постоянно и *весьма мужественно*. И даже нельзя сказать, что он *критиковал* их: он только *излагал и прославлял* их. Их он считает выше себя и честно исполняет против них свой литературный долг. И в этом он даже может служить примером другим. Владимир Соловьев правду говорит, что характер его очень непонятный и слож-

ный: и добросовестен, и фальшив и т. д. Я думаю так: он писал бы обо мне много в двух случаях: или если бы он сам, независимо от других, ценил меня высоко,[6] или если бы и не ценил, видел, что у других, у многих я имею успех и что с влиянием моим необходимо считаться (как считаемся мы с „либералами”). Но ни того, ни другого нет. Значит, и ему завидовать *нечему*... Дурак будет тот, кто в *литературе* мне позавидует, а он не дурак.

Моя литературная судьба есть удивительная школа терпения – и только! Завидовать нечему! А *поучиться* некоторому *неозлоблению*, думаю, можно. В отношении Страхова ко мне прежде всего есть что-то загадочное, так думает и Владимир Соловьев. Объяснить очень трудно. Все объяснения не подходят.[7]

Ну, прощайте. Господь с вами. Не *раз уже молился* за вас грешными моими молитвами и впредь не забуду. Отчего бы вам не побывать *и с молодой женой* у *от. Амвросия* (да и у меня кстати)? *Диаконицу* хвалите, а сами *подражать ей* не хотите?

Ваш от души К. Леонтьев

Рукопись и портреты, ваш и жены вашей, не забудьте прислать. Только с *женой вместе на одной фотографии не снимайтесь*, ради Бога. Это ужасный *mauvais genre!*

P.S. 25-го мая. Две заметки о *Соловьеве* Влад. На счет его даровитости.

Я ему раз писал (прошлой зимой) в частном письме: „Счастье ваше в том, что вы способностями выше *всех нас*, ваших противников (*переименовал*: Страхова, себя, Яроша, Астафьева и т. д.); но из этого не следует, что вы теоретически правы, и что жизнь пойдет по вашему пути. И Наполеон I был выше всех современных ему полководцев, выше Веллингтона, Кутузова, Блюхера, Шварценберга и т. д. *И они все сознавали его превосходство; но все-таки оружия не слагали и кончили тем, что низложили его*, ибо *история* была за них, а не за него”. Соловьеву это так понравилось, видно, что он читал это место Страхову (пропустивши впрочем – к сожалению – его имя). Страхов тогда обратился ко мне с

письмом, в котором рассказывал о „хвастовстве"[8] Соловьева и кстати спрашивал, как я думаю о „фальшивости" и „лукавстве" Соловьева, который его, Страхова, в этих же именно дурных свойствах обвиняет. Вообразите оригинальность моего положения между почти единомышленником, которого я не люблю и даже не уважаю, и противником, которым и лично, и литературно восхищаюсь?! Считая Страхова и по *природе*, и специально в делах со мною крайне фальшивым,[9] утомленный, наконец, собственным моим по отношению к нему долготерпением (30-летним!), я ответил ему кратко, *открытым* письмом, что „не намерен входить в подобный разбор, кто из писателей наших более фальшив и кто менее, но предпочитаю ответить словами прор. Давида: *Уклоняющегося от меня лукавого не познах* (т. е. не хочу с ним больше *водиться*)".

NB. И *после этого* как *раз* вам случилось к нему обратиться за сведениями обо мне.

2) *Вл. Соловьев о Достоевском в частном письме.*

Лет 6 тому назад Соловьев, *почти* тотчас же вслед за произнесением где-то трех речей в пользу Достоевского (где между прочим он возражал и мне, на мою критику пушкинской речи Д-го, и утверждал, что христианство Д-го было *настоящее* святоотеческое), написал мне письмо, в котором есть следующее, весьма злое место о том же самом Фед. Мих-че: „*Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подзорную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел*".

По моему, это злая и печальная правда!

Ведь я, признаюсь, хотя и не совсем на стороне „Инквизитора",[10] но уж, конечно, и не на стороне того безжизненно-всепрощающего Христа, которого сочинил сам Достоевский. И то, и другое – крайность. А еванг. и свято-отеч. *истина в середине*. Я спрашивал у монахов и они подтвердили мое мнение.[11] *Действительные* инквизиторы в Бога и Христа веровали, конечно, *посильнее самого* Фед. Мих.[12] Ив. Карамазов, устами которого Фед. Мих. хочет унизить католичество, – *совершенно* неправ.

Инквизиторы, благодаря *общей* жестокости века, впадали в ужасные и бесполезные крайности; но крайности религиозного фанатизма объяснять безверием – это уж слишком оригинальное „празднословие”. Если христианство – учение божественное, то оно должно быть в одно и то же время и в высшей степени *идеально*, и в высшей степени *практично*. Оно таково и есть в форме *старого* церковного учения (*одинакового* с этой стороны и на востоке, и на западе). А какая же может быть практичность с людьми (даже и хорошими) без некоторой доли *страха*? „*Начало* премудрости (духовной) есть *страх* Божий; *плод* же его *любы*”.

Все прибавки к вере и все „исправления” 19-го века никуда не годятся, а наши *русские* и тем более, ибо они даже и не самобытны; я могу привести цитаты из Ж. Занда и др. французских авторов, в которых раньше Достоевского говорится о „любви” и против *суровости католичества*. Старо и ошибочно. Разница между православием и католичеством – велика со стороны *догмата, канонических* отношений, *обрядности* и со стороны *истории развития* их; но со стороны церковно-*нравственного духа* различия очень мало; различие главное здесь в том, что *там* все ясно, закончено, выработано до сухости; а у нас недосказано, недоделано, *уклончиво*...

Но это относится не к *сущности нравственного учения*, а к истории и темпераменту тех *наций*, которые являются носительницами того и другого учения.

3) *Насчет ваших книг*. За присылку их **очень** вам признателен; *брошюры* все прочел с величайшим удовольствием, и это чтение усилило во мне еще больше желание *видеть* вас. Вы уже тем подкупили меня еще и раньше, что *имели неслыханную у нас смелость впервые с 40 годов заговорить неблагоприятно о Гоголе*. Это большая смелость и великая заслуга. Сочинения последнего его периода, т. е. самые знаменитые, очень обманчивы и вредны; я тоже писал об этом кое-где мимоходом; но я стар, а вы молоды. Честь и слава вам за это! За большую книгу *О понимании* еще не принимался. *Боюсь* немножко, ибо, хотя я не лишен вполне способности понимать отвлеченности, но очень скоро устаю от той *насильственной и чужой последовательности и непрерывности*,[13] в которую втягивает меня всякий философ. Большею частью, по философским книгам только „порхаю” с

какой-нибудь своей затаенной „тенденцией"; *ищу* – и порхаю; не как бабочка, конечно (ибо это для 60-летнего старика было бы слишком „грациозно"), ну, а как какая-нибудь шершавая пчела (трутень?).

4) Что вы нашли „благообразного" в *наружности* Ник. Ник. Страхова? Не понимаю!

Вот наружность Соловьева – идеальна, изящна и в высшей степени оригинальна.

А Страхов? Не понимаю!

„De gustibus non est disputandum!"

Впрочем я пристрастен: у Соловьева мне и слабости, и пороки нравятся; а у Страхова я и самое хорошее – признаю... конечно, признаю, но – прости мне Господи! – скрепя сердце!

Когда дело идет о Соловьеве, мне надо молиться так: „Боже! Прости и охлади во мне мое *пристрастие*!" А когда о Страхове, то иначе: „Боже! Прости и уменьши мое *отвращение*!"

И то, и другое – *грех*: христианство – *царский* путь, *средний*!

27-го мая

Вчера уже письмо было запечатано и готово для отправки, а сегодня я распечатал его, чтобы сообщить вам *три новости*.

Во 1-х, получил вчера же извещение, что Говоруха-Отрок скоро приедет *пожить* в Оптину, перед путешествием за границу (преимущественно в Царьград, – хвалю!); с другой стороны, тот самый *Фудель*, которому я посвятил мои письма о *Национальной политике*, на днях предупредил меня, что он уже в дороге и в *1-х числах июня* будет у меня. Не соблазнит ли вас хоть этот случай – познакомиться с двумя даровитыми единомышленниками? Не привлечет ли хоть это вас сюда?

Фудель человек замечательный; ему не более 26 лет; он уже 3-й год *священником* в Белостоке и теперь надеется быть переведен в Петербург, для слушания лекций богословия. Он кончил курс юристом в Москве; под влиянием Ив. С. Аксакова и все *того же Достоевского*, напечатал очень

хорошую („аки *млеко* первоначальное") книжку *Письма о русской молодежи*, против нигилизма и в духе того пламенного тумана, в который заводят оба вышеупомянутые знаменитые авторы. Потом, не хуже вас, вступил со мной в переписку; *не долго думая* (он решителен и тверд: *немецкая кровь* по отцу, *польская* по матери! Увы!), приехал сюда, поговорил с от. Амвросием и со мной и благословился у от. Амвросия пойти в священники. Я рекомендовал его Победоносцеву и др. лицам, – его рукоположили более 2-х лет тому назад (он женат), и туман „гармонии" и т. п., слава Богу, совсем прояснился; он предался безусловно христианству, *известному, ясному и сформированному*, и совершенно доволен с этой стороны своей судьбой. Он понял очень быстро, что с одним *моральным идеализмом* („любовь", „гармония", „*Он*" /Христос – *только* прощающий/) далеко от современного смятения мыслей и чувств не уйдешь, и нашел спокойствие духа *в том*, что я с *метафизической* точки зрения позволяю себя называть *материалистическим спиритуализмом* /например, Христос – вполне *Бог, но и вполне человек*, за исключением *греха*: т. е. *воплощение*; наше воскресение *плоти* после общего суда; *все таинства*: вода (крещ.), миро (миропом.), вино и хлеб (причащ.), елей (елеосв.), брачное соединение *плоти* (брак), **руко**положение (священство), *человеческая* беседа (исповедь), *поклоны, крест, просвирка, икона*, даже и чудотворные *мощи, свечи, лампады* и т. д. Разве все это не *вещество, мистически одухотворенное*? Та мистика и не *настоящая*, которая не нашла себе материальных форм!/. Это с метафизической точки зрения, а с *лично психологической* настоящее христианство можно (как я уже писал вам и с чем вы согласились) назвать *трансцендентным эгоизмом* влекущим, однако, за собой неизбежный и практический, земной *альтруизм*, хотя *немного*, да влекущим, даже и в самых злых и грубых людях. (Нач. премудр. *страх* Господень!) Рекомендую вам Фуделя с *самой лучшей* стороны. Хорошо бы сходиться и съезжаться! Но мы этого не делаем! Или очень мало...

Вторая новость касается вашей книги *О понимании*.

От. Амвросий говорт часто, что там, где нет „страха Божия", и страх человеческий очень полезен. Вот вчера на-

пал на меня некий весьма тонкий страх *человеческий. Вас* испугался. Я подумал: „Вас. Вас. Розанов видимо человек сильно все чувствующий, а ну, как он меня возненавидит за то, что я долго за его книгу не принимаюсь?[14] Ведь мне же будет грех, что я и из-за лени моей ввел в искушение хорошего человека! Да и сам я желаю, чтобы он меня любил, а не ненавидел" и т. д.

И попробовал „попорхать". Присел в одном месте (в конце): смотрю – мед; присел в другом – тоже все хорошо и *понятно* (даже и *мне* – не метафизику!), и *ново* во многом. Остался ужасно доволен и, оставив свое обычное легкомысленное дилетантство, приступил к систематическому чтению с *первой главы*.

Различение *знания* от *понимания* мне показалось очень ясным, верным и (для меня, по крайней мере) *новым*; я нигде этого не встречал...

Очень хорошо и *доступно*!..

При этом, признаюсь, я осмелился, применяя это различие и к своим собственным сочинениям, подумать: статья моя *Русские, греки и юго-славяне* есть выражение моего *знания*; я *описал* их свойства и различия, а моя теория (гипотеза?) *триединого* процесса в истории и в особенности гипотеза *смешения*, ведущего к *упрощению образа и смерти* (исчезновению) – есть выражение моего *понимания*. Это есть *открытие*, если оно оправдается трудами людей, более меня ученых.[15]

Так ли я понял? Не самомнение ли это одно? Вырвитесь на мгновение из объятий суженой вашей, чтобы или *уничтожить* мою претензию, или поддержать ее... Я давно этого решения жду от кого-нибудь, но почти все *именно этот пункт* обходят в молчании... Только один Астафьев лет 5-6 тому назад, на публичных лекциях своих (*весьма* малолюдных) и в отдельной брошюре потом признал эту гипотезу *смешения* глубокой и важной. Но он так неясно и тяжело пишет и говорит, что портит этим все лучшие свои задачи. Буду теперь уже, не порхая, продолжать чтение вашей книги.

Третья новость. *Сборника* моего (*Вост., Россия и Сл-во*) мне вчера прислали из Москвы *10 экз.* Из них я брату вашему пошлю 2 экз. Один с надписью, как вы советовали, а другой так, для *пропаганды*: если вы желаете, то и вам, для *по-*

следней цели, пришлю экз. *пять*.

Национ. политики у меня нет и не знаю, где ее склад! Брошюра эта была издана одним приятелем; она, как водится с моими книгами, почти вовсе не пошла; приятель не окупил даже расходов; потом сам заболел (болезнью головного мозга), удалился к отцу в дальнюю провинцию и, хотя теперь ему и гораздо лучше, но я не хочу беспокоить его вопросами о том, где склад брошюры и т. п.

Хорошее издание *От. Климента* здесь все истощилось, а в Москве оно почти не продавалось, ибо от. Амвросий в течение многих лет раздавал ее даром людям образованного класса.

Есть у меня плохое издание, – не знаю, послать ли его вашему брату или нет? Очень уж скверно издано в Варшаве (в 80-м году).

Еще раз прощайте.

Видите, как вы ошибились, предполагая, что я тягощусь писать письма? Право, это гораздо приятнее, чем писать статью для печати. Пишешь письмо к единомышленнику или к близкому, с убеждением, что возбудишь или сочувствие, или живое возражение; пишешь статью для публики, – знаешь, что встретишь или удивленное непонимание, или насмешки над „оригинальностью" и „чудачеством" своим, или обвинения в „парадоксальности", или чаще всего пренебрежительное молчание...

Прибавьте к этому 60 лет, лень, недуги, полнейшую обезпеченность спокойной и уединенной жизни, а главное, постоянную боязнь согрешить на краю могилы излишними волнениями литературного самолюбия, – и вы поймете, почему гораздо приятнее писать Фуделю, вам и некоторым другим людям, чем для печати: как-то *нравственно чище, безгрешнее, бескорыстнее*.[16]

Ваш К. Леонтьев

[1] Все это длинное рассуждение, к счастью, оказалось *не нужным*. „Коврика" и не заметил, не то, чтобы пытаться „ранее вступить на него". Но какова однако *психология предвенечная* у нас, вызвавшая вековым постоянством своим *обычай*. „*Кто*-то из нас будет господствовать?"... Вспоминается слово, сказанное Израилю Богом через пророка Иезекииля: „и ты не будешь Меня более

называть *господином* (Ваал), а будешь называть Меня *супругом*" (Иегова). Да супружества *нет вовсе*, если оно не каплет, как мирра, нежностью и благоуханием, взаимной уступчивостью, *восторгом* уступчивости. „Вступи *ты первый* (или: „*ты первая*") на коврик" – вот долженствующая, правильная психология супружества. Но нравы потекли так, что этого никто не говорит. И снова вспомнишь Завет Ветхий, Завет *Вечный* по слову Божию, столь нам нужный сейчас, практически нужный. „Ты *и семейство твое*" – вечный словооборот в законодательстве „раба Божия Моисея". Человек не мыслится *без семьи*, как предмет не существует и не мыслится *без тени*. Оттого сотворение Евы примыкает так *органически* к сотворению Адама („из ребра его"), дабы показать, что и мыслиться они не должны друг без друга. Они – *органически*, и притом *предустановленно* органически, соединены: и ни Адам *не кончен без Евы*, ни Ева *не начата без Адама*. Здесь – любовь, от самого создания и в плане самого создания. Бог в могуществе своем мог бы сотворить Еву из второго куска глины: тогда любовь была бы *возможна*, а не стала бы *требуема*. Давно уже у нас (в Европе) стала любовь и связь супружества чем-то „возможным для всякого", а не „необходимым для каждого". Не прибавляем мы: „ты *и семейство твое*", ибо человек может быть *и без семейства*, мыслится *и бессемейным*. Все поставлено так, как если бы „Адам" и „Ева" были сделаны из двух *отдельных* глиняных куколок. Все уже разрушено, и, может быть, невозвратимо. Правда, и мы риторически повторяем: „муж и жена – одно", но это – не слово любви (ибо не из любви течет), а слово власти. „*Мы* соединили, *стало быть* – одно" (=„крепко"). И колотит „одна половина" другую. Ревет вторая половина: „мочи нет терпеть!" Но ей гордо отвечают: „тише... сделай веселое лицо; улыбайся; сохрани обман, не выдай нас: *ведь вы теперь одно, ибо мы вас соединили и уже невозможно разделить вас*, так как это значило бы признаться в бессилии нашего соединения; а такому признанию препятствует наша гордость". Вот отчего в Библии есть картины Содома и Гоморры, не утаен случай Лота и его дочерей, вообще *ничего не утаено*: но на всем протяжении ее листов ни одного (ни одного!) случая, где бы 1) муж жену бил, 2) родители били свое дитя. Все дети рождались в любви, а все супружества были счастливы. Чем, какими мерами золота оценить единственный этот социальный и исторический факт? И не воображайте, что это проистекало: 1) от послушливости еврейских детей, 2) от покорливости еврейских женщин, 3) от любви мужей-евреев. Из непослушания их Моисею, из ослушания их пророкам и Богу

ясно, что народ еврейский был буйный, самонадеянный и страстный. Да, но и тигр *любимую тигрицу любит, а не грызет*. Дело в том все, что каждый еврей *жил именно с любимою женою*, а каждая еврейка *была супругою именно любимого человека*; что у них законы о браке, через Моисея данные и потом подробно *в том же духе* разработанные, были торопливыми слугами на побегушках у любви („ребро Адама"); тогда как у нас любовь– робкая раба закона, который с нею не сообразуется, а ее с собою, с своей гордостью и неподвижностью, хочет сообразовать. Невозможно не заметить, что даже Вирсавию с Давидом *не разъединил* пророк Нафан; а Бог Вирсавии от Давида дал сына Соломона. И Бог, и пророки, и закон простирались, как голубой полог неба, над любовью, утучняя ее плодородием и никогда-то, никогда ей не противясь. У нас „не так люби, как хочется, а как *мы велим*", и „жена *да боится* своего мужа" и „коврик" и „кому первому на него вступить". Да, есть „благословенный" и „не благословенный брак" не только индивидуально, но и исторически. В Европе, во всей толще ее веков и народов, „брак не благословенный"; над ним, над семьею европейскою (вовсе не библейски устроенною, а по *римскому языческому праву*) явно нет полога Неба, нет Промыслителя. Это – *не божественный брак*. В Ветхом Завете он был божественный, „благословенный Богом брак".

2 Мне казалось непостижимым, как можно было *знать* труды и личность Л–ва и молчать (столько лет!) о нем. Так как Л–в мне представлялся ярче, гениальнее обоих названных писателей, то я в изумлении и назвал порок „зависти", как единственное объяснение молчания их, помимо которого ничего не мог придумать.

3 Ничего этого я не думал и думал о чувстве Сальери в отношении к Моцарту. Что значит зависть к *успеху*, сравнительно с завидованием *душе* золотой, Богом возлюбленной, гениальной? *В. Р–в*

4 Какой везде прелестный о себе тон: вот этому-то, способности такого тона, и можно было „завидовать", как настоящему и чудному дару Божию.

5 Ранее знакомства (т. е. переписки с Л–вым) я начал, для *Русск. Вестн.*, большую о нем статью: *Эстетическое понимание истории*, прерванную на первом отделе моими личными хлопотами. Она была окончена только при известии о смерти Л–ва и напечатана в *Русск. Вестн.* посмертно.

6 Я не выпустил ни одного из жестких слов Л–ва о Страхове и должен их уравновесить словами Страхова о Л–ве. Прочитав *Анализ, стиль и веяние* Л–ва, я был поражен, встретив *совершен-*

но нового в литературе человека, увидев „литературный портрет", какого вовсе (ни у нас, ни у иностранцев) не видывал никогда. Впечатление свое я сообщил Страхову, с которым был интимен. Но, как верно здесь пишет Л–в, Страхов был „тягуч, неясен и уклончив". – „Да, да, Леонтьев, Константин Николаевич, – знаю; давно пишет и очень талантливо пишет. Очень талантливый человек"... Ничего более определенного он мне не сказал. Позднее я узнал, что он, как и Рачинский, питал непобедимое и неустранимое отвращение к личности Л–ва и всему образу его мыслей. Тут был протест против „ницшеанства не в Ницше". Оба они возмущались смесью эстетизма и христианства, монашества и „кудрей Алкивиада", и, главное, жесткости, суровости и, наконец, прямо жестокости в идеях Л–ва, смешанной с аристократическим вкусом к роскошной неге, к сладострастию даже. „Фу, черт – турецкий игумен!" – это *удивление* во мне, у них выразилось, как *негодование*, как *презрение*. Но не может человек видеть „зад свой" (выражение Библии о Боге), и Л–в никогда не догадался о настоящем мотиве отчуждения от себя многих людей, также, по-видимому, как он, „консервативных", „православных".

7 Здесь есть еще одно объяснение (в отношении Рачинского и Страхова), которого, очевидно, не подозревал Л–в, что именно *оно действует*. И я здесь сообщить о нем не могу, хотя один раз у Страхова в письме ко мне, а у Рачинского в личном разговоре со мной оно вырвалось. К этому мотиву и относится фраза Рачинского о Л–ве, приведенная мною выше: „я – *отскочил* от него" (Л–ва). Но это относится к нерассказываемым в печати подробностям биографии. Бедный Л–в всех этих мотивов не подозревал, а никто из близких людей, например, Вл. Соловьев, *и не мог* их выговорить.

8 Страхов так пишет: „хвалился" или „хвастался", – не помню. *К.Л.*

9 Вл. Сол. я не считаю *природно*-фальшивым по темпераменту; но думаю, что он *телеологически* стал в последнее время притворяться, *будто* сочувствует *европейскому прогрессу*. Надеется этим путем и либералов наших привлечь к мысли о *примирении церквей* и о *подчинении папе*. За это негодую на него сильно. *Прим. К. Н. Л–ва*

10 *Легенда о Великом Инквизиторе* – известная вводная глава в *Братьях Карамазовых*, где приводится длинная речь Инквизитора испанского, объясняющего Христу, отчего католичество вынуждено было отречься от Христа, изменить ему, исказить его учение и стать на сторону „умного Духа Пустыни" (=дьявола), говорившего в пустыне со Христом. Во все время речи Инквизи-

тора, Христос безмолвствует и только в заключение целует его в „бескровные уста".

11 Едва-ли Л–в не наивничал, обращаясь к ним „за разъяснением". Бедную и несчастную сторону нашего духовенства составляет то, что они зачастую не только не знают (иначе, как формально, школьно, схоластически) литературы и философии, и между прочим всех религиозных волнений и недоумений, волнующих „внешний (для духовенства) мир", но его решительно невозможно и ввести в дух этих недоумений, в настоящие и *кровные* его мотивы. Только приходя в соприкосновение с духовенством, понимаешь, как много значит *школа* и *история личного образования*, личных знакомых, встреч, прочитываемых книг. Духовное лицо прикасается только к духовным же; и они все слежались в ком твердый и непроницаемый. У них есть *свои* сомнения, но не наши, *своя* боль – и тоже не наша. Нашей боли и наших сомнений они никогда не почувствуют, и в глубочайшем, в душевном смысле – мы, просто, не существуем для них, как в значительной степени – и они для нас. Печально, но истинно.

12 Тут – глубокая правда у Л–ва. Мы просто не понимаем, что такое „инквизитор", а Достоевский набросал совершенно невероятный портрет инквизитора-атеиста. „Это вы сами, Фед. Мих., в Бога не веруете," – мог бы ему ответить инквизитор-испанец, повернувшись спиной. Вообще мы, русские, понимаем только *тип русской веры*, тип веры несколько беззаботного и не энергичного человека. *Идеалисты* французской революции начали „terror rei-publicae", а *идеалисты* Христовой веры начали инквизицию, этот „terror fidei". Поразительно, что очень *серьезные верующие люди* не питают отвращения к инквизиции до сих пор! Не жалуются, что „она была"; ни сатир, ни картинок на auto da fé не пишут. Это их молчание, спокойствие (среди: наших, столь либеральных времен!) показывает, что в *идеализме веры* действительно содержится „инквизиционный момент": еще немного глаза поугрюмеют, веки – опустятся, губы сожмутся, и они произнесут „auto da fé".

13 Как это хорошо выражено, мотивировано. Действительно, философ внешний куда-то *тащит мою душу*. Вот отчего *настоящие* философы мало читают *других* философов (Кант, Декарт, Бекон знали историю философии слабее посредственных профессоров своего времени). Настоящий оригинальный и сильный ум, ум *именно философский*, не станет (больно будет) читать другого *настоящего-же философа*, разве изредка и „несистематически", хотя *мыслить сам* вечно будет (наслаждение). Напротив, пассивный ум, мертвый, не оригинальный – будет сколько угодно

читать философов, и философий. „Кто бы меня ни потащил, – со всяким пойду". От этого иногда профессор-медик, профессор-юрист, профессор-историк еще бывает философом, с призванием к философствованию и философии. Но никогда этим не бывает „читающий философию профессор". Они в смысле философском – потерянный материал.

14 Брошюры я ему послал с намерением, чтобы он прочел (легко, на интересные темы), а книгу *О понимании* – только из вежливости. Куда в 60 лет читать волюмы. Но как наивно, и детски чисто это. „В. В. рассердится, что я его не читаю". Да почти все мои личные друзья и посейчас не раскрывали этой книги. Вообще писатели не весьма много читают, и это – не без основания, и даже – не худо. Читатель пусть будет именно читатель, а писатель – писатель, а

Смешивать два эти ремесла

вовсе не к чему. Ведь какая жалость выходит, когда *не урожденный* писатель начинает „писать". То же можно представить себе и относительно настоящего, т. е. жадного и обильного, плодотворного чтения.

15 Да, я не ошибся, избрав названием книги „понимание" и слив с ним философию. Какая в самом деле разница между „знать" и „понимать"! Последнее – это точно дух какой-то ворвался в факты, в знания, и членил их в организм, в философию! „Эврика" (=нашел, *догадался*) – вот девиз философии, восклицание философа; „вижу" земляного Вия (у Гоголя) – глас эмпирика и эмпиризма. Книга *О понимании* (737 стр.), через два-же месяца по отпечатании, была осмеяна (рецензентами, очевидно и не прочитавшими ее) в двух журналах, *Вестн. Евр.* и в *Русск. Мысли*, и, не имея еще о себе рецензий и критики, легла на полках магазинов. Лет пять назад, очень нуждаясь в деньгах, я продал ее на пуды; по 30 коп. за том (вм. 5 руб.), подумав: „sic transit gloria mundi". На ее напечатание я все время учительства откладывал рублей по 15–20 в месяц, уверенный, что она делает эру в мышлении.

16 Да, это все глубоко истинно и чисто! Переписка, письма – золотая часть литературы. Дай Бог этой форме литературы воскреснуть в будущем.

5 июня 1891 г. Опт. п.

Не *5* и не *7* строк, как вы желаете, а 75 000 написал бы я вам, дорогой и милый, добрый Василий Васильевич!.. Если бы не был так слаб... Болен я *всегда*, вот *уже 20 лет*, но заниматься мне это не мешает, кроме некоторых дней особого изнеможения или уныния. (Вот и *теперь* я в таком состоянии)... Мыслить и сочинять, читать серьезное не могу; но для письма, и *тем более вам*, всегда найдутся силы... Поэтому не болезнь причиной тому, что вы долго не получали от меня вестей, а ваши собственные *распоряжения*... Тотчас после вашего последнего письма я вам ответил в Елец, потом послал вам туда же *3 экз*. моего *Сборника* и *столько же* брату вашему в *г. Белый*. Сверх того я в Елец же недавно послал еще одно вам письмо с деловым вопросом: *не желательно ли вам место при одной из московских гимназий*? У меня „есть рука" по мин. народн. просвещения, и я могу по крайней мере „попытать счастия". Удастся, – хорошо, не удастся, – ваше положение не ухудшится...

Статью вашу обо мне (от которой, конечно, я в восторге!) не осмелился возвратить вам, не смотря на то, что заметки к ней давно готовы; ибо вы сами не велели возвращать ее до востребования... *Куда* вы уезжаете, вы мне не сказали; а все посланное мною вам в Елец, разумеется, лежит там, на почте, и *будет возвращено мне, если вы немедленно не напишете в почтовую* елецкую контору, чтобы вам все выслали

на ваши Воробьевы горы...

„Обижаться" же мне на вас не только не за что, но так как монахи приучили меня в *самом деле часто молиться*, то я каждый день (иногда и не по *разу*, а чаще) молюсь, чтобы вы не переменились ко мне и не оставили бы меня на краю могилы без вашей поддержки и без ваших (*неслыханных* еще ни от кого другого) утешений... Какое тут „негодовать" или „сердиться"! Тут надо свечки ставить или песни петь бравурные... Простите, что сегодня больше не могу ни слова написать... Изнемогаю и телом, и духом... Отчасти и от африканской жары...

У меня гостит теперь молодой *доцент* моск. университета Анатолий Александров (27 лет), друг и ученик мой... Он до того восхитился вашей статьей и вашими письмами, что, если бы не это письмо ваше, извещающее, что вы под Москвою, то он непременно бы заехал к вам в Елец знакомиться... (Он едет к родным в Белев).

Боже! *Доживу ли я* до того, чтобы видеть вашу статью оконченной и напечатанной! Варваре Дмитриевне мой искренний поклон с просьбой не „ревновать" ко мне и не мешать вам мною, грешным, заниматься!

Обнимаю вас крепко.

Ваш К. Леонтьев

13 июня 1891 г., Опт. п.

Неоцененный и *неожиданный* друг (позвольте вас иногда и так называть), буду для ясности отвечать по пунктам...

1. *Ваш портрет...* Я очень доволен им... Выражение вашего лица напоминает мне Ионина, бывшего сослуживца моего в Турции, консула в Янине и Черногории, потом министра-резидента в той же Черногории, потом посланника в Бразилии, а теперь временно состоящего в Петербурге при министерстве иностранных дел. Это он пишет в *Русск. Обозр.* политические статьи под псевдонимом „Spectator".[1] Если вам они попадались, то вы, конечно, видели, как он сочувствует моим отрицательным взглядам на славян. Это один из самых прямых и добросовестных умов, каких я только знал. У него глаза какие-то ясные, честные, твердые и как бы удивленные (полагаю, от безхитростного *внимания*, – „внимание для внимания", „понимание для понимания" и т. д.). Ваши глаза (на фотографии) напомнили мне его глаза. Только носик ваш, кажется, не очень красив, – слишком *национален*, если не ошибаюсь...

2. *Ваша статья...* Еще прежде получения вашего последнего письма, я уже сделал к ней примечания на особых листах. Часть их касается до вас, часть до меня. Вам я делаю замечания только *стилистические*; это мой „пункт". О себе кое-что кратко биографическое, ибо в этом вы по незнанию фактов немного ошиблись. (Например, о моем „стремлении в центры

деятельности"[2] и т. п.) По *существу* же я не только не могу почти ничего на вашу статью возразить, но не умею и даже... как-то *боюсь* вам выразить... до чего я изумлен и обрадован вашими обо мне суждениями!... С самого 73 года, когда я в первый раз напечатал у Каткова политическую статью (*Панславизм и греки*), и до *этой* весны 91 года я ничего подобного не испытывал! Нечто успокоительное и грустное в то же время! Если бы статья ваша была окончена и напечатана, то я мог бы сказать: „Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко!.."

Теперь еще, пока статья ваша не окончена и не напечатана, я, конечно, не могу этого воскликнуть; но я все-таки могу сказать: „**Наконец**-то после 20-летнего почти ожидания я нашел человека, который понимает мои сочинения *именно так, как я хотел, чтобы их понимали*!"

Не думайте, что отзывов о моих сочинениях не было вовсе; за последние 5-6 лет их было там и сям достаточно, и даже были *весьма* похвальные, но все это кратко, недоказательно, неясно и т. д. А главное, *историческую мою гипотезу* все старались обходить осторожным молчанием.[3] О предсмертном *смешении*[4] дерзнул серьезно отозваться только один Астафьев в публичных лекциях своих в 1886, кажется, году. На этих лекциях собиралось не более 30–50 человек, и то на половину по личному знакомству с Астафьевым. Успеха не было никакого, и журнальная критика (даже и московская) не обратила на эти его лекции никакого внимания. Из 5 наиболее распространенных и наиболее влиятельных московских газет того времени (*Моск. Вед.*, *Русь*, *Соврем. Изв.*, *Русск. Ведом.* и *Русск. Курьер*) ни одна не сказала ни слова.[5] И это понятно отчасти: последние две (*Р. В.* и *Р. К.*) – газеты, вполне европейски-прогрессивные и очень рады умолчать о том, чего совершенно ничтожным назвать нельзя, а хвалить невыгодно; что касается до Каткова, Аксакова и Гилярова-Платонова, то они все трое *прежде* сами слишком много послужили *этому самому смешению*,[6] а потом сами же шаг за шагом стали от него отступаться,[7] чтобы им легко было свыкнуться с таким *коренным отвержением*, какое выражается в моих книгах и в лекциях Астафьева (у него, впрочем, с оговорками).

Итак, и того единственного человека, который решился

публично заявить о важности и правде моей гипотезы „вторичного"[8] смешения", – замолчали.

Лекции Астафьева изданы отдельными книжками; я их вам пошлю только на прочтение и подержание, но не *в дар*. Может быть, они вам пригодятся.

3. Ваши жалобы на то, что „печатание" оскверняет чистоту нашего внутреннего мира, меня тоже немного сконфузили... „Вот тебе раз! – подумал я, – а ну, как он и статью обо мне тоже сочтет осквернением! *Вот утешит-то*!" – Я не помню, искренно говорю, в каком именно смысле я писал вам, что предпочитаю дружеское письмо – статье для печати (я начинаю – увы – утрачивать свою, прежде превосходную память); но думаю, что это было вовсе не в таком идеальном смысле, в каком вы это понимаете, а в каком-нибудь более практическом (напр., любезный и скорый ответ на письмо, сочувствие и т. д.; *виден* непосредственный плод и приятно, а где *видимый* плод от статьи? Внимания, труда, напряжения мысли в 20 раз больше, а *вознаграждение где*? Самое верное – это хорошая *плата*, – ну, это, конечно, всякому и самому бескорыстному человеку годится не для себя, так для других. И только). Поэтому не приписывайте мне тех *целомудренных* чувств, которые вы в себе сознаете. Я их не сознаю в себе, а напротив того, очень люблю видеть свои труды в печати. Пока они *дома*, я чувствую, что они мои, и все недоволен ими; а в печати – они *получужие*, и тогда они мне гораздо больше нравятся. А просто лишь **трудиться** в 60 лет наскучило, и *теперь*, наприм., я в восторге от того, что от. Амвросий благословил мне до осени, до зимы и *сколько даже угодно, ничего нового для печати не писать*; несмотря даже на то, что по некоторым особым условиям нынешнего года это воздержание может весьма тяжело отозваться на кое-каких *вещественных* обстоятельствах. Понимаю очень ясно эту опасность, но пока она не настала, я спокоен и рад; „старец благословил; будет невыгодно и тяжело зимою, значит – нужно это испытание, обойдется все хорошо, тем лучше"! Возверзи на Господа печаль твою!" Но все-таки мне 60 лет („**очень** *старый* писатель", как вы говорите!), а вам 37. Избави меня Боже от вашего литературного „целомудрия". Это тоже „fatum" будет ловкий!

Здесь же кстати будет сказать и то, что и ваше сообщение

о полной *ясности понимания*, при которой уже и писать не хочется, – тоже для меня не особенно ободрительно!.. „Нет, мол, я теперь так уж ясно понимаю Леонтьева, что разбирать его сочинение не могу!” Недурно будет это! Каким бы это средством – не знаю – *туману* вам напустить, чтобы поскорее пришла охота его рассеивать?

4. Вы напрасно думаете, что я, подобно Страхову, не читаю вашей книги *О понимании*. Я прочел внимательно половину и, по правде сказать, с *Заключения*-то и начал. Я нахожу, что вы пишете яснее многих других метафизиков. О *правоте* (вообще) вашей не берусь судить, недостаточно силен в этом, но *родственность* мысли чувствую на каждом шагу; неприятно мне было только то, что вы говорите против *материальных чудес*. Какое же без них христианство? Зачем *до конца* полагаться на нашу логику. „Credo *quia* absurdum!” Я же, прибавлю, и на других, и на *самом* себе видел *вещественные чудеса*. Если увидимся, – расскажу. И зачем это *все понимать*? И так уж мы стали в 19-м веке понимать, или, вернее, *знать* слишком много. Дай Бог, чтобы в 20-м веке более глубокое *понимание некоторых* привело к ослаблению знания *у большинства* (*рациональный, развивающий обскурантизм*). Впрочем, насчет чудес следует вашу терминологию употребить обратно: о чудесах полезно *знать* (факты), но *понимать* их избави нас Боже!

5. Еще одно приложение (ad hominem) этих ваших двух терминов: *знание и понимание*. О чудесах довольно *знания; понимания* не нужно. Совершенно иначе я отношусь к вашему желанию, чтобы рукопись ваша была возвращена вам *только по востребованию. Знаю* и, конечно, подчиняюсь воле хозяина рукописи, но *не понимаю* и желал бы *понять* „целесообразность” подобного распоряжения! Думаю так: если бы вы собирались куда-нибудь надолго из Ельца, то просто написали бы мне об этом, чтобы и письма в Елец не посылать пока. Значит, не в этом *секрет*. А что-нибудь одно: или вы с Варв. Дмитр. сами сюда сюрпризом собираетесь (так думает одна молодая дама, принимающая участие в моих делах и сношениях), или (так я думаю) – это опять-таки „ревность” Варв. Дмитр. „Подожди возвращать рукопись, а то слишком опять займешься этим несносным *старым писателем*!” *Понимаю* и это. И хочу надеяться, что это даже к лучшему для

меня, забудете немного, мысль ваша затемнится на время, захотите опять *умственной борьбы*, разъяснения самому себе и сядете кончать.

6. Эпиграф из Герье[9] жертвую вам на растерзание, но посвящение Филиппову – *нет, нет и нет*! Вы не знаете, что *значил* для меня этот человек в течение 10 и более лет. Ведь нельзя же дойти до такой ненормальности, чтобы писать только для себя, а я некоторые *подобия* откликов стал слышать только лет 6-7 тому назад. Только у Филиппова я уже с начала 70-х годов видел и ясное понимание моих целей,[10] и горячее, твердое, деятельное участие. Не позволительно быть неблагодарным.

7. О *моем влиянии* на реакционные реформы.[11] Разве метеоролог, верно *предсказывающий* погоду, имеет на *нее* сам влияние? Если врач сам *больного не лечит* и на *консилиум не приглашается*, но *знает*, как идет болезнь, и *понимает заранее*, что нужно делать, то когда случится, что и другие врачи попадут на те же лекарства и сделают пользу, – разве этот посторонний врач может сказать про себя, что имел „влияние"? Конечно, нет. Он может считать себя очень дальновидным, пророком, гением даже; но никак *не влиятельным* лицом. В государствах, еще не обреченных на скорую гибель, государственные люди, вовсе даже и не гениальные, доходят до *нужного* одним эмпирическим тактом, как доходили без правильных теорий старые врачи. Дезинфекцией занимались не без успеха и прежде открытия микробов, бацилл и т. д.

Я уверен, что ни Государь, ни покойный Дм. Андр. Толстой, ни даже Ив. Давыд. Делянов ни разу не говорили себе: „на основании закона *триединого процесса развития* и из страха *предсмертного смешения* сделаем то-то и то-то". Ибо, если бы они *смешения* этого *вполне сознательно* боялись, то, хлопоча усердно и основательно *о православии* для эстов и латышей (это нужное *единство*), не вводили бы *французских судов на русском языке* в Остзейском крае (это вредное *однообразие*, смешение), а если какой-нибудь граф, барон, бургомистр, предводитель немецкого дворянства или пастор оказал бы сопротивление православию на *их туземных языках*, то ссылали бы его в Сибирь или хоть в Вятку без околичностей. Поймите, прошу вас, разницу: русское царство, населенное *православными немцами*, православными

поляками, православными *татарами* и даже отчасти православными *евреями*, при численном преобладании православных *русских*, и русское царство, состоящее, сверх коренных русских, из множества *обруселых* протестантов, *обруселых* католиков, *обруселых* татар и евреев. Первое – созидание, второе – разрушение. А этой простой и ужасной вещи до сих пор никто ясно не понимает... Мне же, наконец, **надоело** быть гласом вопиющего в пустыне! И если Россия осуждена, после короткой и *слабой* реакции, вернуться на путь саморазрушения, что „сотворит" один и одинокий пророк? Лучше о *своей душе* побольше думать, что я с помощью Бога и старца и стараюсь делать... *Моя* душа *без меня* в ад попадет, а Россия, как обходилась без моего влияния до сих пор, так и впредь обойдется. Пусть гипотеза моя есть научное открытие и даже великое, но из этого еще не следует, что практическая политика в 20-м веке пойдет сообразно этому закону моему. *Общественные организмы* (особенно западные), вероятно, не в силах будут вынести ни *расслоения*, ни глубокой мистики духовного единства, ни тех хронических жестокостей, без которых *нельзя* ничего из человеческого материала надолго построить. Вот разве союз *социализма* („грядущее рабство", по мнению либерала Спенсера) с *русским Самодержавием и пламенной мистикой* (которой философия будет служить, как собака) – это еще возможно, но уж *жутко же* будет многим. И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому. А иначе все будет либо кисель, либо анархия...

Старо человечество, старо! Вот и *я понимаю* теперь, в 60 лет, чего бы я должен был избегать в 20, 30, 40 лет, чтобы не изнемогать, как теперь изнемогаю, но уже вернуть прошлого не могу!

Ну, а ряд блестящих торжеств еще будет у России бесспорно в ближайшем будущем. Да *мягки* мы все стали слишком и к себе, и к другим. *Страх Божий* утратили, а этой пресловутой, какой-то еще неслыханной „любви" все нет, как нет.

8. Что Варвара Дмитриевна вдова, этому я *очень* рад. Вдова может быть скоро и верно понята и сама все скоро поймет. А у девушек вечно сумбур в голове. Девушки

для добросовестного мужа очень опасны! Загадочны и обманчивы...

Не ей ко мне ревновать, а *мне к ней*. Беда, да и только.

9. Отчего вы не ответили мне, что желаете получить для прочтения мои ново-греческие повести? Повести, я думаю, и в медовый месяц с новобрачной можно почитать. А впрочем, не буду слишком набиваться. И про книгу можно сказать: „не в пору гость хуже татарина!" Больше пока нечего сказать.

Прощайте.

Варваре Дмитриевне мое почтение...

Ваш К. Леонтьев

P.S. Если у вас есть роман *Братья Карамазовы*, пожалуйста, вышлите мне его на 2 недели. Нужно справиться и проверить кое-что свое. Не бойтесь, я человек *весьма* аккуратный, будет цело и вовремя возвращено. Идею „потенциальности" в вашей книге я, кажется, угадываю и смутно понимаю в приложении к утилитарному идеалу. Если я верно понял, то, конечно, это „очень просто" и математически точно. Дай Бог!

ПРИМЕЧАНИЯ[12]

1) „Ненависти"[13] *собственно* у Д-го ко мне не было; напротив того, он при последней встрече нашей в Петербурге (в 80-м году, всего за месяц *до речи*) был особенно любезен, ибо весьма сочувствовал моим передовым статьям в *Варш. Дн*. Но, когда я, живя тогда в калужской своей деревне, прочел эту речь[14] о „гармонии", то ужасно удивился и огорчился; я считал его *настоящим* православным, а настоящее православие *даже права* (по учению и предсказанию евангельскому и апостольскому) не имеет ждать „всепримирения", „всепрощения", „вселюбви" и вообще *моральной* гармонии (*здесь*), а может допускать только *временные* улучшения и ухудшения. (*Теперь*, в 80-х годах, *улучшается*). Огорчившись, я написал статью об его речи, а он, воображавший со слов Аксакова и других, что его речь – великое „событие" (Катков заплатил ему за эту речь *600 р*., но за глаза смеялся,

говоря: „*какое же* это *событие*?"), ужасно на меня рассердился и написал свою заметку. Я ее не видел и не искал видеть, но мне говорили *почитатели* его (в том числе Влад. Соловьев), что она „очень нехороша", и Влад. Соловьев сильно порицал Страхова за то, что он допустил практическую[15] вдову Фед. Мих. это напечатать после его смерти. Соловьев находит, что эта заметка не делает Д-му чести.

2) *Соловьев лично* очень дружен со мной и любит меня. Он к тому же очень сочувствует тому, что я религию ставлю выше национализма, и потому ему труднее, чем всякому другому, специально писать обо мне; соглашаться не может, и боится огорчить или оскорбить. Неизвестность же моя (сравнительная) облегчает ему молчание. Нет **настоятельного** побуждения противодействовать. Однако, в книжке своей *Национальный вопрос* он с большой похвалой отозвался о *Византии и славянстве*. (Слышно, однако, будто он теперь кончает обо мне статью для *Новостей*).

3) Вы к Льву Толстому, *как проповеднику*, слишком добры. Он хуже *преступных* нигилистов. Те идут сами на виселицу, а он – блажит, „катаясь, как сыр в масле".[16] Удивляюсь, почему его не сошлют в Соловки или еще куда. Бог с ней, с той „искренностью", которая безжалостно и бесстыдно убивает „святыню" у слабых! Он *верит*, правда, слепо в одно: в *важность собственных чувств и стремлений*, и нагло, меняя их, как башмаки, беспрестанно, знать не хочет, каково будет их влияние! У него же самого *истинной*-то любви к людям и тени нет. У меня самого и у многих других были с ним сношения по делам самого *неотложного* благотворения, и я, и все другие вынесли из его наглых бесед по этому поводу самые печальные впечатления. /„Человек вторую неделю с семьей *корками* питается", – говорю я ему. – „Наше назначение не кухмистерское какое-то", – отвечает он (*при Влад. Соловьеве*); дело шло о *чтении* в пользу этой несчастной семьи. Он отказался, и мы с Соловьевым и без него добыли около 200 руб./ Прошу вас верить, что *личные* мои сношения с ним ничуть не располагают меня быть против него. Он, например, за глаза всегда меня хвалит и предпочитает многим другим писателям за то, что я „стекла бью" (это его слова). *Но я его за его новую деятельность хвалить не могу* и не буду, и *права*, как православный чело-

век, *не имею*!

Прошлый год он у меня был здесь, в Оптиной; сидел и спорил, тоже и меня как будто пытаясь *сдвинуть*! Но, разумеется, не солоно хлебнул... Впрочем, он не только со мной самим бороться не может на *этом* пути, но даже и попытки его испортить двух юношей, бывших под моим и катковским влиянием, потерпели постыдное фиаско. Они были не только тверды с ним, но и резки.

Не надо его, наглого старика, баловать.

Гений романиста сам по себе, свинство человека и проповедника сами по себе.

Dixi.[17]

4) Я бы просил заменить слово „желчно" выражениями: строго, ядовито, резко. Подумайте, это по отношению моему к *романам* Толстого неуместно, несправедливо. Не слишком ли много, с другой стороны, и эпитет „страстная" (любовь). Я *давно* уже не могу любить „страстно" литературу. Без *хорошей* литературы все-таки можно *всячески жить*. В век Екатерины, например, *хорошо морально* жил Тихон Задонский, хорошо эстетически Потемкин. То, что вы слышите в моих отзывах, – есть только отголосок „давнего", неостывшего. Вот православие (догматическое, обрядовое) и независимость России от западного прогресса я *страстно* люблю.

5) Пресытился я давно (еще живя в Турции, в 70-х годах) *всей русской школой.*[18]

6) *Верно*! Превосходно! Ясно![19]

7) Вы любите хороший *слог*? Не лучше ли вообще ухитряться как-нибудь избегать этого множественного „черт"? Не слишком ли похоже на „чёрт"?

8) Восхитительно сказано. В 10 раз яснее, чем у меня.[20]

9) Так ли это насчет силы Толстого в изображении „первобытной наивности"?.. Я сомневаюсь. Не потрудитесь ли вы заглянуть на досуге еще раз и в его романы, и в те страницы моего *Анализа*, где я говорю о *простых* людях, что он их тайные *чувства* плохо разбирает. Что касается до фигуры *Алпатыча* (в *Войне и Мире*), то, во 1-х, он уже немножко „интеллигенция"; да и в описании сражения под Смоленском я вижу больше картину внешнюю, чем ряд идей и ощущений Алпатыча.

10) По моему мнению, не хочет *рисковать,*[21] боится *не справиться* в оттенках; как не справился с *душой* Наполеона; все *одно и то же* – самолюбие и только (т.е. у *его* Наполеона).

11) Не слишком ли эти слова „*оборван., общип.*"[22] – крайни?.. Можно ли назвать такими словами изображения Андр. Болконского, Вронского, Левина, даже бесхарактерного, но умного и симпатичного Пьера Безухова? И многих других. Отчего же они (*после* лиц *предыдущих* авторов, Тургенева, Писемского, Достоевского) производят весьма положительное, а *не отрицательное* впечатление?

12) Я хотел сказать:[23] „более *оригинальной*, творчески-русской фантазии, чем фантазия Жуковского (германская) и Пушкина" (как бы общечеловеческая в самом лучшем смысле, но не особенно оригинальная).

13) Превосходно! В высшей степени точно: „отчуждающийся".[24]

14) Это все великая правда. Прежде любили анекдоты, самые факты *жизни.*[25] Нынче *жизнь, как жизнь*, меньше любят. Всегда „искали" чего-то впереди, но в *меру*, а главное – *немногие*. Нынче большинство „интеллигенции" помешалось на этом „искании". И Льву Толстому, между прочим, за его искание и „искренность", стоит сотни две горячих всыпать *туда*... Старый... Безбожник-анафема!

15) Я опасаюсь для *будущего* России[26] *чистой оригинальной* и *гениальной философии*... Она, может быть, полезна только как *пособница* богословия... Лучше 10 новых *мистических* сект (вроде скопцов и т. п.), чем 5 новых философских систем (вроде Фихте, Гегеля и т. п.). Хорошие философские системы, именно хорошие, – это *начало конца*.

Если же вы говорите дальше о „спасении души" в смысле церковном, прямом и *реальном*, т. е. об *избежании ада* для *индивидуальной души* и *воскресении* новой, высшей плоти, а не в смысле душевной „гармонии" на *земле*, то, конечно, я согласен... Пошли Господи нам, русским, такую метафизику, такую психологию, этику, которые будут приводить просто-напросто к Никейскому *символу веры*, к старчеству, к постам и молебням и т. д.

16) Печатал я еще раньше 86-го года, начиная с 67 года, довольно много *повестей* и *романов* из *новогреческой жизни* (или из *жизни христиан в Турции*). В *Русском Вестнике* от

67 до 82 года, в перемежку с публицистикой. Были и отзывы – разные... Есть отдельное (хотя и не полное) издание; изд. Катковым.

17) Тут у вас сведения биографически не верны. 29-28 лет я решился оставить медицинскую практику и вздумал поступить на консульскую службу... *31 года* получил должность секретаря консульства на острове Крите, через 7 месяцев был – не то, чтобы удален оттуда, а переведен в Адрианополь (за то, что ударил хлыстом французского консула в его собственной канцелярии, – одно из самых *жизнерадостных* моих воспоминаний). Управлял в Адрианополе консульством почти 2 года, потом сам был сделан консулом в Тульче (на Дунае), в Янине (Эпир) и в Салониках (Македония). В 71 году удалился на Афон, мечтая о монашестве... В 73 вышел в отставку и уехал на родину, в свое Кудиново.

В „центры" высшей политической деятельности я „не рвался" тогда, не считал еще себя (*до 73 года*) способным иметь *свои* взгляды на высшую политику, а учился у других, которых считал опытнее и даже способнее себя с этой стороны... И начальство, считая меня *весьма хорошим* политическим практиком и готовя меня, по собственным словам, к *значительным* повышениям, и не подозревало (также *как и я сам* этого не думал), что я способен написать политическую вещь, вроде моего первого опыта (*Панславизм и греки* в 73 году). В Петербурге изумились, когда узнали, что под *псевдонимом Константинов* – кроюсь *я*... Приписывали другим. *После* этого (42-х лет только!) я и сам в 1-й раз понял, *что* я на этом пути могу сделать. До тех же пор, с 21-го года, я все стремился создать какое-нибудь замечательное *художественное* произведение... Все искал лучшего; жег, – и между прочим сжег в Салониках *восьмилетний* труд мой (5-6 романов *в связи* из русской жизни 1811 – 1862 г.). *Прежде*, чем Зола, о котором тогда еще и помину не было, я начал этот труд в 60-х годах под общим заглавием *Река времен*.

Считая себя (с *51* до *71, 72, 73* года) романистом гораздо более, чем публицистом и *теоретическим* политиком, я центров (столиц) не любил и всегда куда-нибудь из них скрывался; то в Крым на войну (54–57 г.), то в имение матери (не раз), то деревенским врачем у богатых людей

(в нижегородской губернии), то в турецкую провинцию на целых 10 лет.

Я всегда находил, что художника, поэта, романиста *провинция формирует лучше, чем столица* (особенно, чем наш Петербург). В Петербурге *романисту* нужно быть богатым и *ездить ко двору*. Иначе, что там *почерпнешь*? А жизнь провинции я всегда любил; не только *усадебную*, помещичью, но и жизнь губернского города. Уездные города, правда, скучноваты; в них есть только *объективная* поэзия (в стиле Островского); а *субъективно* – скучно.

Вот почему я тогда в центры не рвался и службу свою в турецкой провинции очень любил, пока не случился со мной глубочайший и тяжелый внутренний переворот, после которого я уехал на Афон и задумал в отставку... В течение 10-летней службы консулом, я только на *три месяца, один раз*, приезжал в Петербург.

Консульская роль на Востоке очень деятельна и самобытна. Меньше зависимости на службе нельзя и найти. Князь Горчаков говорил, что для него консул в Турции имеет гораздо больше значения, чем посланник второстепенного западного государства. И был прав.

18) Вот за это[27] спасибо! Не *смеешь* и верить! Не избаловали люди!..

И за слова о славянофилах – *большое* спасибо!.. Именно „наивные" верования старых славянофилов противоречили их *основной* идее.

19) О китайцах. Разве уж так „бесполезен" их „быт"? – Во 1-х, он очень красив в своем роде. На „бесперспективной живописи" отдыхаешь после давнего, наскучившего и *неизлечимого, реалистического совершенства* греко-европейского искусства.

Вообще же погалаю, что китайцы назначены завоевать Россию, когда *смешение* наше (с европейцами и т. п.) дойдет до высшей своей точки. И туда и дорога – *такой* России.

„Гоги и магоги" – *finis mundi!* После этого что еще останется? Без *новых* диких племен или без способных к *пробуждению*, что возможно? Вообще – *немного* человечеству *остается*, мне кажется... Точные науки ускоряют гибель. „Древо познания" иссушает мало-помалу „Древо жизни".

20) Верно. Я тогда вовсе не думал[28] об условиях или осно-

ваниях *общечеловеческого единства*, у меня было в виду одно лишь религиозное: православие, *единство Востока*. Да и вообще сознательное, идейное общечеловеческое единство есть приближение предсмертного *смешения*, а физиологическое или *психологическое* единство было и даже сознавалось всегда. Людоед и тот знал всегда, что он *человека* ест, а не другой *вид* животного.

21) Ваши слова о *труде*. За „труд" *какой бы то ни было* на небесах награды церковь не обещает, а за веру и *труд по вере* в *Св. Троицу* и т. д. – да! **Не иначе**!..

22) Не могу согласиться с вами касательно истории 19-го века. Величественны в этот век были только *войны* Наполеона I... А „*чудовищных* форм" в нем я тоже не вижу. Казарменные 6-этажные дома, пиджаки, панталоны, фраки – пошло, некрасиво, *ужасно* даже, но ужасно не по чудовищности, а по убийственной *прозе форм*. „Чудовищны" в 19-м веке только *машины*; но они ведь ведут все к той же „пиджачной" цивилизации.

23) *Справедливо* ваше указание, что по части фактических иллюстраций у меня „бедно, кратко"... Источники для справок (в Константинополе, в 74 году) были до нельзя скудны... Но я не горевал и писал в надежде, что найдется *когда-нибудь* человек, *по истории более меня специальный*, который *оценит* мою теорию и разовьет ее подробнее и доказательнее... *Это* ведь не раз бывало; сами знаете.

Гете первый высказал предположение, что кости головы и лица суть ничто иное как ряд более развитых *позвонков*, а Океи и Карус подтвердили его взгляд...

Быть может, и я *наконец-то, встретивши вас*, буду иметь возможность сказать: „Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыка"...[29]

К. Леонтьев

[1] Или здесь – ошибка Л–ва, или г. Ионин очень недолго подписывался этим псевдонимом. Spectator в *Русском Обозрении*, по крайней мере 90-х годов, вовсе – другое лицо, не Ионин.

[2] Ниже идут везде замечания на посланную (и посмертно напечатанную) рукопись: *Эстетическое понимание истории*. В начале

ее сделан был очерк его теории „триединого процесса", о котором он выше говорил, и которая составляет ключ к разумению всех его писаний, и заметки о его личности. В них, между прочим, я упомянул, что Л–в „стремился в центры деятельности (т. е. столицы), но всегда от них был (fatum) „отталкиваем" (в провинцию глухую, в турецкую „заграницу").

Поразительно! В *ней*-то и главная *суть* Л–ва; без нее – *его* просто *нет*. Здесь сказывается поразительная тупость наших философских и историко-философских кафедр, а также наглость и поверхностность нашей публицистики, наших публицистов. В печати у нас *ругаются* собственно, а не думают; или защищают „лицо", протаскивают „идейку", – но идейку, как голый *тезис*, как краткое *требование*.

По Л–ву, когда растение, животное, человек, государство, культура переходят через *зенит*, движутся и склоняются *к смерти*, то происходит в нем „предсмертное смешение элементов", как бы *упрощение* всего вида, лица умирающего предмета. Государство становится *просто*, религия – *проста* (рациональна, бедна культом), наука – эмпирична (=*проста* же) и т. п. *Механизм* растаивает, *морфология* живого тела – спадается. Отсюда Л–в видел в *падении классов*, в *обезличении сословий* признак падения европейских обществ; и отсюда, только отсюда – вытекал „аристократизм" тенденций этого бедного и скромного человека, этого бескорыстного (лично) человека.

Как бедный, подбирает все даже только возможные отзывы печати, – и не о себе, а о лекции, на которой его теория была *упомянута*! Тут даже какая-то неопытность: ну, и „отозвались" бы газеты, напечатали бы по столбцу репортерских отчетов: и все бы их на утро прочли, попомнили до обеда, а к ужину – забыли. *Ничего* не сделали для памяти Л–ва даже обширные статьи в либеральнейших и ходких журналах.

Т. е. они все три были, напр., *бессословны*: Катков громил польских *магнатов*, Аксаков – остзейских *баронов*; оба – по косвенным (*руссо*-фильским) мотивам, но это – все равно. Л–в стоял и *за* магнатов, и *за* баронов, как за *сильную* орду в Казани, „от которой Россия (в Москве) много хорошего переняла" (в одном месте он так говорит), и по мотиву даже совершенно бескорыстному: все это – *разнообразило* общерусскую жизнь, все это было *выразительно* и *исторически красиво*.

Везде Л–в судит, как философ, воображая, что корифеи публицистики, им названные, то „удалялись" от теории „предсмертного смешения", то „приближались" к ней. Они просто писали, что *сегодня надо*, а до лекций Астафьева или книг Л–ва им и дела не было.

8 В отличие от „первичной слитности", *детской* простоты существования. Напр., в нации *сословий, классов* так-же нет в эпоху Рюрика или Ромула (*первичное* смешение элементов), как и в эпоху Каракаллы (*вторичное* упростительно смешение), объявившего всех *жителей* необъятной империи равно „*cives* romani".

9 Я Л–ва упрекал в письме, для чего он взял к книге своей *Восток, Россия и славянство* эпиграфом слова из какой-то статьи Вл. И. Герье, профессора истории в московском университете, – слова совершенно *обыкновенные*, где воздается некая (небольшая дань) консерватизму; и для чего он посвятил книгу Т. И. Филиппову, человеку, о котором я не имел причины что-нибудь дурное думать, но который был тоже человеком *обыкновенным. Необыкновенность* книги Л–ва, казалось, потускнялась и этим серенъким эпиграфом, и этим сереньким посвящением.

10 Т. е. *практических*. Во 1-х того, что Л–в стоял за константинопольский патриархат против „болгарской схизмы" (национального болгарского от греков освобождения, вопреки „каноническим правилам"), и, во 2-х, что Л–в ценил и любил наше *старообрядчество*. О К. Н. Леонтьеве мне неоднократно приходилось говорить с Т. И. Филипповым, но ни однажды я от него не слышал не только одобрения, но даже и упоминания об его „триедином процессе", т. е. *корне* всех отрицаний и утверждений Л–ва. Кстати, о „болгарской схизме". Известно, что в начале и в середине 19-го века греки, видя пробуждающееся национальное сознание болгар, истребляли письменные и вещественные памятники их истории, вообще их национальной личности. Все это было на глазах первых болгарских грамотеев, первых их ученых, священников, учителей, вождей народных. Болгары все это „сложили в сердце своем" и, как только обстоятельства сложились благоприятно, – потребовали „национализации церкви". Но, по древним церковно-каноническим правилам, „в одном городе не может быть двух православных *самостоятельных* епископов", ибо этим нарушался бы „закон любви христианской". Для чего болгарам *свой* епископ, положим, в Филиппополе или Адрианополе, *когда там есть уже епископ грек* той же православной церкви. Епископ-грек, который раньше без зазрения совести жег болгарские манускрипты, – едва болгары начинали просить себе „своего епископа", начинал ссылаться, что по постановлению такого-то вселенского собора, „этого быть не может, ибо этим нарушается евангельский закон любви, закон единства церкви, не знающей *разделений* национальных и государственных". А когда болгары все-таки национальной церкви

добились, то патриарх константинопольский „за нарушение ими канонических правил" объявил весь болгарский народ состоящим в „схизме", т. е. „в ереси". Пример этот ярок и важен, чтобы показать, как „правила любви" (?!) мало-помалу трансформировались в какую-то *работу стряпчих* над текстами о любви; и из них мало-помалу сплелась удушительная веревка, тем более ненавистная, что она вся намылена „любовью" и особенно ловко обхватывает шею удавленника (в данном случае – болгар, но при случае и всякого другого).

11 Я Л–ва спрашивал в письмах, не имел ли он (т. е. через идеи свои) влияния на известный поворот русской политики, начиная с 81-го года. Но, очевидно, практические русские государственные люди еще менее его перелистывали, чем Аксаков, Катков или Гиляров.

12 *Примечания* – к рукописи статьи моей: *Эстетическое понимание истории.*

13 На слова статьи: „в желчных строках Достоевского (в посмертно напечатанной *Записной книжке* его) о Леонтьеве сказалась какая-то ненависть. Напротив, Вл. Соловьев, не слишком склоняющий слух к тому, что против него говорят, на этот раз внимательно поправился".

14 Знаменитую *Речь при открытии памятника Пушкину в Москве.* Как эта речь, так и последние любящие рассказы Л. Н. Толстого, начиная с *Чем люди живы*, вызвали одну из самых блестящих и мрачных брошюр Леонтьева: *Наши новые христиане, гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский.* Но уж если „изменой христианству" показалась Леонтьеву „любовь" названных писателей, призыв их к „братолюбию", – то чем могло бы показаться, *в отношении к христианству*, „алкивиадство", „красивые страсти" самого К. Н. Леонтьева? Тут, в эти годы и в тех брошюрах, в сущности начался глубокий религиозный водоворот христианства. Стержнем его был вопрос: что есть *сердцевина* в христианстве: *нравственность, братолюбие*, или некая *мистика*, при коей „братолюбие" и не особенно важно?

15 Вставлен грубый порицательный эпитет, который мы опускаем.

16 Печатаем эти слова Л–ва, как документ мышления уже умершего человека, которое не может пробудить ничего живого в живых.

17 Сохраняем все это, как документ, – как сам Толстой обнародовал грубые и жестокие к нему письма за два последние года. Все это – живая история, страниц которой (никаких) не следует вырывать. „Что было – *было*" принцип истории.

18 На слова мои: „Л–в, очевидно, сжился с миром художествен-

ного творчества Толстого, и, наконец, через много-много лет, как будто пресытившись им, теперь отрывается от красоты, так долго и безмолвно созерцаемой, и, отрываясь, высказывает, почему он это делает".

19 На слова: „Почти невозможно не согласиться с взглядом его (Л–ва) на Толстого, как на последнего и высшего выразителя своеобразного цикла нашей литературы, после которого ей предстоит или повторяться и падать в пределах того же внешнего стиля и внутреннего настроения, или выходить на новые пути художественного творчества, искать сил к иным духовным созерцаниям, чем какие господствовали в последние сорок лет, и находить иные приемы, чтобы их выразить".

20 К словам: „Психологический анализ, недостаточно проникающий у Гончарова, узкий в своем применении у Тургенева, искаженный и болезненный у Достоевского, только у гр. Л. Толстого вырос во всю полноту свою, двигаясь во всех направлениях, повсюду нормальный и достигающий везде той глубины, дальше которой для художника предстоит уже не изображение, но придумывание и фантазирование.

21 На слова: „В одном только – в *национальности* Толстой встречает некоторое препятствие для своего анализа, через которое, не знаем, может ли, но очевидно, не хочет переступить".

22 На слова: „Толстой любит унижать своих героев, он хочет видеть их смешными даже и тогда, когда сами они хотят быть только серьезными. Странное следствие получается из этого: оборванные, ощипанные своим творцом, перед нами выходят люди, как их Бог создал, и если мы все-таки находим в них иногда черты высокого и героического, то это уже героизм истинный, правдивый".

23 На слова: „Л–в тонко указывает на первое пробуждение у нас сильного воображения, которое замечается в Гоголе".

24 На слова: „Таков всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже и отчуждающийся суд, который произносит Леонтьев над высшими произведениями нашей натуральной, в литературе, школы".

25 На слова: „как будто сила жизни, которая цветит всякое лицо и заставляет всякое поколение шумно и не задумываясь идти вперед, стала иссякать в теперешнем поколении, – и то, что еще так недавно привлекало всех, теперь никого более не занимает. Мы потеряли вкус к действительнсоти, в нас нет прежней любви ко всякой подробности, к каждому факту, которая прежде так прочно прилепляла нас к жизни. От мимолетных сцен действи-

тельности, над которыми, бывало, мы столько смеялись или плакали, теперь мы отвращаемся равнодушно, и нас не останавливает более ни их комизм, ни трагизм их внешней развязки". – Берем эту большую выписку, ибо восклицание Л–ва здесь закрепляет наблюдение чрезвычайно важного психического перелома конца 80-х и начала 90-х годов нашей общественности.

26 На слова: „Вековые течения истории и философии – вот что станет, вероятно, в ближайшем будущем любимым предметом нашего изучения; и жадное стремление, овладев событиями, направить их – вот что сделается предметом нашей главной заботы. Политика, в высоком смысле этого слова, в смысле проникновения в ход истории и влияния на него, и философия, как потребность гибнущей и жадно хватающейся за спасение души, – такова цель, неудержимо влекущая нас к себе".

27 На слова: „Из всех идей, волнующих современный политический и умственный мир, ни одна не способна так встревожить нашу душу, до такой степени изменить наши убеждения, определить симпатии и антипатии и даже повлиять на самые поступки в практической жизни, как историко-политические взгляды Леонтьева. Он первый понял смысл исторического движения в 19-м веке, преодолел впервые понятие прогресса, которым мы все более или менее движемся, и указал иное, чем какое до сих пор считалось истинным, мерило добра и зла в истории. С тем вместе, уже почти по пути, он определяет истинное соотношение между культурными мирами и преобразует совершенно славянофильскую теорию, отбрасывая добрую половину ее требований и воззрений, как наивность, коренным образом противоречащую ее сословной идее".

28 На слова: „Мы остановились так долго на сдерживающем единстве в жизни человечества и его отдельных наций, потому что, сосредоточив свое внимание на начале разнообразия, К. Леонтьев только указал его, но не определил и не объяснил".

29 Слова: „Гоги и магоги, „finis mundi" и т. д., очень напоминают известное чтение Вл. Соловьева *О конце всемирной истории и Антихристе. Главное – тоном напоминают*, грустью, безнадежностью. Указание на роль китайцев, как будущих завоевателей России, сливает воззрения Соловьева и Леонтьева до тожества. Близкие друзья, они, конечно, не раз говорили „о будущем", по свойственной русским привычке; о *приоритете* мысли, чувства тут не может быть и речи, да он вообще и не интересен, кроме как для библиографов-гробовщиков. Леонтьев на 10 лет раньше сказал ту мысль, которая зашумела из уст Соловьева

(опять fatum). Но вот что следовало бы заметить обоим мыслителям. В противовес „опустившимся рукам" у них обоих, какая энергия предприимчивости у „мечтателей" – Достоевского, Толстого! „Розовое христианство", „розовые христиане", – бросил им упрек обоим Л–в в желчной брошюре своей: но, если это „новое" христианство дает обоим им *силы жить*, то не очевидна ли некая доля *истины* в нем? Ибо невозможно *жить из лжи*, а только можно *жить из истины*. „Розовое христианство" двух наших реалистов-романтиков (Дост. и Толст.) не есть ли с тем вместе „христианство, возвращающееся к *Древу Жизни*" (см. у Л–ва о нем) на место „христианства, связанного только *с Древом Познания*" (схоластика, ученость, догматизм)? Оба они, и Соловьев, и Леонтьев, и были связаны до излишества с „Древом Познания"; отсюда их пессимизм, уныние. А эстетизм Л–ва, его „алкивиадство", как юный листочек, как молодая почка пробуждающегося *Древа Жизни*, от того, несмотря на монашество, так крепко и держалась на нем, а он сам в себе *более всего ее любил*, – что это-то и было залогом спасения и исцеления для них обоих, и Соловьева, и Леонтьева. Соловьев так рано и грустно умер от того, что в нем вовсе не было (?!) этой почки *Древа Жизни*; а Л–в все-же прожил до 60 лет, и даже (как мне пишет) был „веселый и, наконец, не без легкомыслия человек". Есть „воды живые" и „воды мертвые", это надо помнить, как комментарий к „Древу жизни" и „познания".

19 июня 1891 г., Опт. п.

На днях, думая о вас, я вспомнил, что вы, по-видимому, не желаете больше служить в Ельце... Не хотите ли вы, чтобы вас перевели в Москву в одну из гимназий?.. В начале июля здесь собирается побывать Тертий Иванович Филиппов; он, по-видимому, в хороших отношениях с гр. Деляновым и может повлиять на это. Сверх того я и к самому министру народного просвещения имею некоторый ход... Были примеры, что моя рекомендация у него не оставалась без последствий. Впрочем, насчет гр. Делянова я ручаться не могу наверное. Тут нужна обдуманность и осторожность, чтобы не испортить дела. Я имею привычку в подобного рода делах не спешить, а действовать, „подготовивши почву". Что касается до Филиппова, то он мне давный, личный друг, и с ним я могу говорить откровенно; он и насчет других министров дает превосходные советы, ибо знает все в Петербурге.

Весь вопрос в том, желаете ли вы в Москву. Мое мнение, что это было бы вам полезно. Раннюю молодость хорошо провести в провинции; ближе к „почве" и т. п. Но в 37 лет, в года „плодоношения", так сказать, лучше трудиться там, где сбыт „плодов" облегчен всячески. И мне самому это было бы приятно, потому что независящие от меня обстоятельства вынудят, кажется, меня или этой осенью (в сентябре), или будущей весной, переселиться к *Сергию-Троице*, т. е. я буду ближе к Москве (и к вам в таком случае).

Прибавлю еще вот что, для меня весьма важное. У меня есть одно довольно большое и давно начатое сочинение под заглавием *Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения*. Вы поймете без труда, в какой тесной связи оно состоит с одобряемой вами гипотезой „вторичного смешения и упрощения форм". Едва ли я буду в силах его кончить; силы мои слабеют, и что еще важнее, *охота* – все меньше и меньше... После 30-летней борьбы утомлен, наконец, несправедливостью, предательством, равнодушием одних; бессилием и неловкостью других; подлостью – третьих...

При моей вере в мистические начала, вам, конечно, не покажется странным, что я придаю *большое* значение моему заочному знакомству с вами *именно тогда, именно тогда*, когда во мне случился особого рода внутренний перелом: до прошлого года я считал тот *день потерянным*, в который я *не писал;* [1] теперь таких дней множество; и я *рад*, что *могу не писать*; рад, что материальные условия жизни позволяют мне забывать о „вознаграждении"; а для „влияния", которого, при всем желании утешить себя иллюзией, я нигде открыть не могу, – не желаю отказываться даже и от гранпасьянса,[2] который можно раскладывать по целым часам.

Конечно, я говорю о влиянии *серьезном*, вроде влияния Каткова, Л. Толстого, Достоевского, Добролюбова и Писарева в свое время; а не о каком-нибудь succès d'estime, вроде Страхова[3] и т. п. Таким-то и я давно пользуюсь. Но ведь это для усталых чувств и угасающих мыслей – возбуждение слабое!

Если бы мы *увидались*, я бы вам прочел эту рукопись и передал бы ее вам для окончания *за меня*...

Если бы у меня были *теперь* лишние деньги, я бы попросил вас принять от меня так или иначе 200–300 р. для свидания со мною и т. д.

Вот почему мне было бы приятно и перевести вас в Москву, если мне еще не судьба этот год умереть,[4] а судьба *жить* у Троицы.

Так как я мало-помалу становлюсь бесполезным, то есть шанс еще *пожить*: я замечал, что люди бесполезные и невлиятельные долго живут.[5]

Что делать: „Не так живи, как хочется, а так, как Бог велит!"

1 Какая „урожденная" потребность писать и почти полувековое абсолютное невнимание общества к писателю, почти полная его нечитаемость! Миф о „муках Тантала", я думаю, никогда еще не имел для себя такой иллюстрации, как в этом своеобразном русском писателе с своеобразною, *поразительною* судьбою.

2 Поразительно. Я же выше сказал, что это был маленький Тамерлан, проигравший всю жизнь „в дураки" в провинции. Это признание Л–ва о „гран-пасьянсе" почти буквально совпадает с моею мыслью.

3 Действительно: есть писатели, которые входят в плоть и кровь общества, страны; и есть писатели для полок библиотек. 99% литературы существуют для библиотек. Существование скучное, тусклое, печальное. Невозможно и представить себе, что значит „входить в жилы" общества, чувствовать, что ты перерабатываешь дух людей, *быт* людей. Это – особая психология, головокружительная.

4 Увы, таинственное предчувствие Л–ва сбылось. Он умер в этом году, едва только переехав к Троице-Сергию.

5 Какое наблюдение! Действительно, бесценная жизнь (Лермонтов, Грибоедов, Пушкин) пересекается точно каким-то насилием на половине и уносится; а сколько „старичков на пенсии" мозолят глаза казначейству и выглядят „кащеями-бессмертными".

20 июля 1891 г., Опт. п.

Вчера получил ваше письмо с извещением, что переходите в Белый и т. д. Прошу вас, известите на ответном бланке,[1] *куда* ж вам *теперь* более подробно писать: в *Елец*, в *Москву* (до 15?), или в *Белый*?

Александров – доцент по *русской литерат.*

Мое письмо вас обрадовало, а ваше произвело на меня *истинно-удручающее* впечатление известием об *отсрочке* статьи даже *до Пасхи*! Доживешь ли!? Опять fatum! Опять высшая Сила, с которой бороться нельзя.

К. Леонтьев

[1] Письмо – „открытое", с бланком для ответа.

30 июля 1891 г. Опт. п.

Спешу, дорогой Вас. Васильевич, ответить вам в Елец, так как до 8 августа еще далеко.

Как видите, я возвращаю вам вашу статью с моими заметками, которые были сделаны еще в начале июня. Вы ее не *требовали*, правда, но я все-таки решился возвратить ее, ибо мне так на *сердце легче*. Вообразите себе девицу, например, которая сознавала в себе и видела и то-то, и то-то, и другие ей подтверждали все это, что она не могла не сознавать в себе, но по какой-то игре судьбы ей в любви серьезной все не удавалось: то улизнет один жених, то другой *из расчетов* (видимо) предпочтет другую, то третий чего-то побоится; так дожила она, положим, хоть до 35 лет и решилась давно уже не ждать *той* оценки, которая удовлетворила бы ее. Вдруг откуда-то неожиданно явился человек; он говорит ей *именно то*, что она уже 20 лет тому назад мечтала слышать... Все давно уснувшие в ней чувства пробудились... Конечно, уж не с той живостью, с какой они могли бы пробудиться прежде, но все-таки проснулись... И что-ж? Опять обман! Этот человек или покидает ее также внезапно, как и явился, или сам умирает, и т. п.

Положение писателя, которого хотя и хвалили, но все не так и *не за то именно, за что* он сам себя ценит (я за *теорию смешения* и за указание на *негодность славян*), – разве не похоже на положение этой женщины?.. Я думаю, что похоже...

Вы говорите: „будьте веселы". По натуре я и так довольно весел, и если взять в расчет года, суровость настоящего православного мировоззрения и несколько неизлечимых и важных недугов, из которых один (сильное и неисправимое без весьма жестокой и опасной операции *сужение* мочевого канала) беспрестанно за последние года угрожает весьма лютой смертью (ischuria), то могу сказать, что я даже *слишком* весел и легок духом! Вообще. Но нынешним летом Богу угодно было послать мне разом несколько новых испытаний (в этом числе и значительное ухудшение этой самой болезни), и поэтому я и *так* давно уже „удручен", молюсь, бодрюсь,[1] стараюсь насильно заниматься чем-нибудь, но есть такие нравственные давления, против которых ничего не сделаешь, пока сам Бог не облегчит их хотя бы изменением внешних обстоятельств. И вот в *такое-то* время я *неожиданно* встретил вас, и стало хоть с одной стороны светлее... И то еще все в *зародыше*... Кончайте, не кончайте – это ваше дело. Но мне будет легче, когда я верну вам начало вашей статьи...

Сверх того, мне пришло в голову послать вам две брошюрки Астафьева (в одном переплете). *Он один только* отдал справедливость моему „смешению". Но кто же читал эти брошюры 5–6 лет тому назад? 20–30 человек. И на лекциях (эти брошюрки – публичные лекции) его собралось едва-едва столько же![2]

Все другие – и Соловьев, и Страхов (в 1876 году), и Грингмут, и Юрий Николаев, старательно обходили этот *главный пункт*,[3] когда упоминали обо мне. Страхов только раз (по просьбе Берга, вероятно) писал обо мне в *Русском Мире* 1876 года (Берг был редактор); он разбирал *Византизм и славянство*, *очень* хвалил, но только как вещь, хорошо написанную в пользу возврата к „старому" православию; о „триедином же процессе" ни слова! *Имени своего под статьей не подписал*, а только буквы, и *в общем издании* своих сочинений *этой статьи не поместил*!.. Впрочем, если хотите (напишите *2 слова* на открытом бланке), я вам пришлю еще книжку с наклеенными разными обо мне отзывами за все время (от 1876 года до 1891). Когда я еще жил в своей деревне, лет 10–11 тому назад, у меня жила одна молодая родственница, весьма увлекавшаяся моими идеями.

Она вздумала собирать эти отзывы там и сям, и бранные, и лестные, и оставила мне эту книжку.[4] Я нашел, что это весьма умно придумано и, на всякий случай, полезно, и с тех пор продолжаю собирать все подобные отзывы (многие из этих вырезок присылаются мне друзьями, ибо я, кроме *Гражд.* и *Моск. Вед.*, никаких газет не читаю и считаю даже такое чтение в высшей степени вредным!) О *Визант. и Слав.* вы, сверх того, можете найти у Влад. Соловьева весьма серьезный отзыв, хотя и мимоходом, в его брошюре *Национ. вопрос* (Изд. 2-е 1888 года IV гл. *Славянск. вопрос*, стр.79).

Вот, вы боитесь, что 2-я половина вашей статьи будет „вялее" первой; может быть, чужие взгляды частью возбудят, частью рассердят, частью обрадуют вас?..

В заключение хотелось бы мне поговорить с вами о вашей брошюре *Роль христианства в истории*. Но отлагаю это по необходимости до другого раза. Ко мне вчера вечером приехал гость, и мне никак нельзя на все утро оставлять его одного.

На этот раз скажу только вот что. „Нагорную ли проповедь" надо при вопросе о примирении религии с наукой противополагать системе Коперника? Эти примеры *слишком выгодны* для вашего *желания* примирить их.[5] А попробуйте сопоставить *воскресение, вознесение, рождение* от Девы, *оставшейся Девой*, и т. п. С современной физиологией, целлулярной анатомией, дарвинизмом и т. д.? Как хотите, а значительной частью того или другого надо пожертвовать. Я для моей *личной* жизни давно, давно и с *радостью* пожертвовал наукой, и во многих смыслах, в 1-х, в том смысле, что я ее уже давно *сердцем* перестал любить в *основании*, а смолоду любил; во 2-х, в том смысле, что в случаях *сомнений*, считаю эти сомнения мои действием злого духа и *отгоняю* их от ума моего, как *грех*, в 3-х, в том, что все усовершенствования новейшей техники **ненавижу всей душою** и бескорыстно мечтаю, что хоть лет через 25—50—75 после моей смерти *истины новейшей социальной науки*, сами *потребности* обществ потребуют, если не уничтожения, то строжайшего *ограничения* этих всех изобретений и открытий. *Мирные* изобретения (телефоны, жел. дороги и т. д.) в 1000 раз вреднее изобретений *боевой* техники. Последние убивают много отдельных *людей*, первые убивают шаг за шагом всю

живую, *органическую* жизнь на земле. Поэзию, религию, обособление государств и *быта*... „Древо познания" и „Древо жизни". Усиление *движения* само по себе не есть еще признак усиления жизни. Машина идет, а живое дерево стоит.

И к тому же большая разница не только между Коперником (не скажу гением, **а человеком 16-го века**) и средней „интеллигентной" массой 19-го века, но – и между этой массой и **нами**; мы еще с вами сумеем как-нибудь переварить это *точное* с *таинственным* (я *первое* обыкновенно подчиняю *второму*, говоря: „быть может, ученые *ошибаются*"); но пока *популярная* наука, ходячая, не примет того пессимистического, *самоотрицающего* характера, о котором мечтаю, не только студенту и даже профессору дюжинного ума, но и нынешнему волостному писарю не легко будет справиться с этим антагонизмом, и сила более ясная и грубая (вдобавок же, и *модная*), т. е. сила точной науки будет торжествовать над *истинной* и *личной*, т. е. *богобоязненной* религией (т. е. над *трансцендентным эгоизмом*, о котором я вам уже писал).

Ну, прощайте, обнимаю вас. – Гость обидится.[6]

Ваш К. Леонтьев

1 Какой везде грустный тон! При объяснении теорий Л–ва нужно постоянно иметь в виду, что они изошли от „Иова на гноище". Тут не запорхаешь. Не запоешь лазурных песен. Самая религия представится, как утешение сквозь грозу. Да, есть Бог „в тихом веянии" (явление Илии пророку) и есть Бог „в буре" (говоривший Иову). Л–в слушал последнего. И не мудрено, что собственные глаголы его „рвали паруса", а не шелестели в кружевах изнеженных слушательниц и слушателей.

2 Довольно курьезно, что имя Астафьева (московский философ 80-х годов) все же более известно читающему русскому обществу, нежели имя Л–ва. Я слыхал, что *устно* он хорошо говорил, но *литературная* его речь была до того чудовищно мертвенна, непонятна, неуклюжа, что, получив его „две брошюры", я повертел в руках их, как кирпичики или как плитки из библиотеки Ассурбанипала, и бросил. И такой-то писатель был единственным, через *популяризацию* которого еще мог подняться Л–в. Между тем *сам* он был „scriptor elegantissimus", как говорится у Кюнера, кажется, о Саллюстии. Л–в писал, *как думал*, как *написаны эти письма*; надеюсь, читатель увидит, что он пишет

легко, ярко, выразительно; что в речи его нет ни *непонятностей*, ни лишних слов. Отсутствием ненужных слов, которые почти у всякого писателя занимают от 1/3 до 3/4 написанного, Л—в всегда меня прельщал.

3 Т. е. в сущности обходили *всю философию* Л—ва, останавливаясь на нем, лишь как на публицисте-*консерваторе*. Вне теории „предсмертного упростительного смешения", Л—ва просто *нет*, он как бы не родился, не произнес *ни слова.*

4 Л—в переслал мне и я сохраняю этот любопытнейший сборник. Он представляет собою две толстые переплетенные тетради, на подобие ученических „черновых" или „общих тетрадей", в четвертинку форматом и в толщину учебника Иловайского. По обеим сторонам каждого листа наклеены отзывы о Л—ве. Их в общем очень много, но они все почти появлялись или в губернской провинциальной прессе, или в захудалых столичных органах. Почти во всех их Л—в пересмеивается или перевирается, или если хвалится, так „оптом", без вхождения в подробности его мышления. Журнальных статей, т. е. основательных, нет ни одной. Наклейки эти, перед тем, как их послать мне, Л—в грустно перечитал и усеял своими замечаниями, полемикой, осуждениями, воспоминаниями или автобиографическими, или о знакомых и о друзьях-писателях. Получилась любопытнейшая книга, где мы как бы присутствуем в комнате самого Л—ва: так близко стоим к психологии его in statu nascendi. Может быть, со временем я дам некоторые из этих заметок: они будут дороги *любителям* Л—ва, каковых всегда будет несколько в литературе.

5 *Место христианства в истории* – первая моя журнальная статья – кой в чем, пожалуй, остается верна и до сих пор; но в общем она лирически-наивна. В ее конце я *увлекаю* читателя на путь идей о *примирении*, о *непротиворечии* христианства и науки: „напр., – говорю я, – противоречит ли нагорной проповеди система Коперника? Это – явления *разных категорий*, вполне согласимые". Л—в на это и отвечает совершенно основательно.

6 Да, вот в чем дело: *метод* науки вовсе не тот, что „откровения"... И *темы* другие. Но тут приходит на ум одно соображение: астрономия, геометрия, „звездочетство" и измерение „градуса меридиана" входило в *древние религии* „волхования" и не входит в религию только *сейчас, у нас. Наша* религия – „скорбей сердца" и „утешения" для „плачущих", „алчущих" и „гонимых". Что им даст „звездочетство"? Просто – оно *им* не нужно. Но только *им. Нами* и нашим *душеустроением* не исчерпывается религия, не кончается; и особенно, *не была начата* в истории. А „творение миров", а идея и *факт* „Творца миров"? Он *зовет* астронома, на-

правляет трубу его телескопа. И алгебра, и механика здесь у места. Дело в том, что мы к 19 – 20-му веку окончательно слили *религию* с *моралью*, исключив из последней метафизический момент. Вот этот-то метафизический момент нисколько не расходится с наукою, и даже с *чудом* в ней. Ведь биология же нас учит, что, напр., все внутри нашего тела процессы, напр., пищеварение, совершаются *сокращенными путями*, через заготовленные в организме кислоты, щелочи, механизмы, которые делают ненужными длинные обычные (химические) процессы. В сущности, каждая реальная *вещь* есть маленькое *чудо в своем роде*, и источник чудесных феноменов.

13 августа 1891 г., Опт. п.

Многоуважаемый Василий Васильевич!

Отправляя вам свои *замечания* к вашей статье, я забыл упомянуть *о двух* вещах, из которых одна имеет в виду *ваши* писательские интересы, а другая – скорее мои (хотя косвенно и до вас может касаться)...

1) Вы говорите, что я был смолоду *врач*, и обращаете внимание на то, что это как бы неслыханный пример, чтобы врач сделался серьезным литератором. Я боюсь, чтобы вас не осудили за забвение, во 1-х, того, что *сам Шиллер* был смолоду тоже военным врачом; а потом и того, что врачами были *Эжен Сю*, а у нас *Влад. Ив. Даль* (*Казак Луганский*). Оно, конечно, *редкость*, но полагаю, что в ваших интересах было бы показать читателю, что вы *эти имена* помните.

Говорят также, что нынешний *Чехов* из медиков. Я его вовсе не читал, но слышно, что у него талант.

2) Вы хотите озаглавить вашу статью: „*Эстетическое воззрение на историю*". Так, кажется?

Опасаюсь, что очень немногие поймут слово „эстетика" так сериозно, как мы его с вами понимаем.

Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику *в природе* и *в искусстве*, чем эстетику в истории и вообще *в жизни*[1] человеческой.

Эстетика природы и эстетика искусства (стихи, картины, романы, театр, музыка) никому не мешают и многих утешают.

Что касается до настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями, тягостями и жестокостями, со столькими *пороками*, что нынешнее боязливое (*сравнительно*, конечно, с прежним), слабонервное, маловерующее, телесно самоизнеженное и жалостливое (тоже *сравнительно* с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в действительности – „избави Боже!"

Мне иногда даже кажется, что по мере расширения круга среднего понимания природы и искусства, круг *эстетического* понимания истории все сужается и сужается. В этом случае само христианство (*по моему*, конечно, *ложно* понимаемое большинством, т. е. понимаемое *более с утилитарно-моральной*, чем с *мистико-догматической* стороны) часто играет в руку демократическому прогрессу.[2] Например, в вопросах *войны* и *мира*. Истинное *церковное* христианство, и западное, и наше, вовсе так *войны не боится*, как боится ее разжиженное утилитарно-моральное христианство 19-го века. Почитайте самые консервативные газеты, и в них беспрестанно такие фразы, где христианство и *политический мир* без зазрения совести путаются. (Хотя бы в *Гражданине*, ну, да и в *Московских Ведомостях*).

Я не могу здесь много об этом распространяться, но прилагаю небольшие отрывки,[3] которые я набросал на досуге, скорее для себя и для друзей, не находя их достойными печати.

Вы с полуслова меня поймете.

Я *уверен* в этом именно вследствие *верного выбора* вами заглавия для статьи обо мне. Да, он верен, но невыгоден с практической стороны. По существу, по глубочайшей основе моего образа мыслей это так: „*Эстетическое воззрение*"! Но именно такое-то *указание* на *сущность* моего взгляда может компрометировать его в глазах нынешних читателей.[4]

Я считаю *эстетику мерилом* наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. *Мерило положительной религии*, например, прило-

жимо только к *самому себе* (*для спасения* индивидуальной души *моей за гробом, трансцендентный эгоизм*) и вообще к людям, исповедующим *ту же религию*. Как вы будете, например, приступать со строго христианским мерилом к жизни современных китайцев и к жизни древних римлян?

Мерило чисто моральное тоже не годится, ибо, во 1-х, придется предать проклятию большинство полководцев, царей, политиков и даже художников (большею частью художники были развратны, а многие и жестоки); останутся одни „мирные земледельцы", да какие-нибудь кроткие и честные ученые.[5] Даже *некоторые святые, признанные христианскими церквами*, не *вынесут чисто-этической* критики. Например, св. Константин,[6] св. Ирина, св. Кирилл Александрийский и *почти все ветхозаветные святые* (которым, однако, *велено*[7] *молиться*)... Это во 1-х. А во 2-х, *этическое* мировоззрение неизбежно и всегда колеблется между двумя разными моралями: *моралью внутренней борьбы* (или моралью *стремления*) и моралью *внешнего результата* (мораль осуществления). Пример 1-ой морали: я рабовладелец; *могу* бить, могу даже *изувечить* раба, но воздерживаюсь от *последнего*, с большой победой над собою, хотя, однако, *все-таки бью* и бью крепко, но без членовредительства, и бью, например, *за дело*, за грубость, подлость и т. д. Пример 2-ой морали: *не бью слугу* вовсе, потому, что боюсь *мирового судьи*.

Первая мораль, конечно, *менее верна*; но зато она ближе и к мистической религии, и к эстетике (победа разума и сердца над гневом и зверством есть также *эстетическое* явление – *моральная эстетика*); вторая мораль – гораздо вернее: но ведь эта забота об одном лишь внешне-моральном результате и приводит шаг за шагом к тому обще-утилитарному мировоззрению, которое и есть всемирная уравнительная *революция* (смешение, разрушение, вторичное упрощение и т. п.). В эстетическом же мировоззрении *все вместимо*!... И *все религии*, и *всякая мораль*, даже до некоторой степени и мораль внешнего результата. Например, противно было видеть, как дурного тона помещица бьет по щекам вовсе не слишком виновную служанку (мужчина и женщина – большая разница!), мировой судья тут является орудием *отрицательной эстетики*: та же помещица после 61 года не только

не бьет, но и сама становится *интересной*, ибо слуги уже начинают злоупотреблять своей свободой и притесняют ее, и т. п.

Все это так... Но, увы! Не только в глазах какой попало публики, но и в глазах многих весьма сериозных, весьма влиятельных, весьма высоко в государстве поставленных людей, слова: „художник", „эстетик", „эстетический взгляд на жизнь", роняют практическую ценность мыслей.

Им представляется все это сейчас чем-то вроде излишества, роскоши, искусства для искусства, *десерта* какого-то, без которого можно обойтись.

Они никак не могут понять, что только там и *государственность сильна*, где в жизни еще много разнородной эстетики, что эта видимая эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами – *творческой*[8] силы.

Вот что я хотел сказать.

В заключение дерзну прибавить несколько „безумных"[9] моих афоризмов:

1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. ее эстетика) суть признаки внутренней *жизнеспособности* человечества, то уменьшение *их* должно быть признаком *устарения человечества и его близкой смерти* (*на земле*).

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству *по основам*, сильно вторит ему в этом *по внешности*, отчасти и *подделываясь* под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить *эстетику жизни на земле*, т. е. *самую жизнь*.

4) И церковь говорит: „*Конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде*".

5) *Что же делать*? Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетики, из *трансцендентного* эгоизма, по страху загробного суда, для *спасения наших* собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике.

[1] Нельзя не обратить внимания, что как с идеями Л–ва роднит

с одной стороны Ницше, так с его *вкусами* удивительно совпадают так называемые „эстеты", „декаденты", „символисты" и проч. Мне известно (из личных знакомств), что они даже и не заглядывали в Л–ва, прямо не знают о *существовании* его. Между тем коренная его мысль, сердцевинный пафос – порыв к *эстетике житейских форм*, к *мистицизму и неисповедимости житейской сути* – суть в то же время надпись на поднятом ими знамени. Замечательно, что почти сейчас же после его смерти (в 1891 г.) явилось шумное, яркое, самоуверенное движение в сторону „красивых форм жизни"; зашумели Рескин, Ницше, Метерлинк, наши „декаденты". И вот тут-то выразился роковой fatum Л–ва, что то движение, которое он так страстно призывал всю свою жизнь, когда родилось, пришло, почти победило, – то даже и не назвало его по имени. Это действительно поразительно. Да и не виною ли в этом, что Л–в так замешал свое имя и силы в *хронику текущих событий*; не виною ли просто журналы, в которых он участвовал и которых никто не читал??

2 Вот здесь и подходит как бы „нож к горлу" Л–ва: он – монах, испрашивавший благословения старца на образ мысли свой, на труды литературные. Но „конные полки" Варшавы ворошат ему мысли, но кудри Алкивиада *обольщают* его. С „наукой" он разделался, почувствовав к ней скуку; скорее – положил ее в карман с твердым намерением не вытаскивать и не справляться. Но от „эстетики жизни" он не мог заснуть, и между тем вынужден признать, что *более всего ее разрушает демократический прогресс*, являющий лишь светски обработанные истины Евангелия: братство, свободу, равенство. В катакомбах все это было „Бога ради", на парижских улицах „для себя", но *результат* там и здесь один: „первоначальная простота" (в катакомбах), „вторичное упростительное смешение" (на парижских улицах). Преторианец или гвардеец преобразуются в „сироту" хныкающего, или в блузника работающего. Там и здесь ни тоги, ни аксельбантов не сохранится. Но тут начинался пафос Л–ва: „если без аксельбантов, то я лучше хотел бы умереть, даже – не родиться!" Таким образом на дне его души, на самом ее дне лежали как бы вечно грызшие друг друга два змия: эстетизм и христианство, „эллин" и житель катакомб.

3 Отрывки эти, пересланные Л–вым мне, у меня сохраняются.

4 Под влиянием этого соображения Л–ва, практически довольно основательного, я написал редактору *Русск. Вестн.* 1892 г. (когда печаталась статья) переменить заглавие *Эстетическое понимание истории* на другое: *Теория исторического прогресса и упадка.* Но письмо мое (из г. Белого) было получено в Петербурге,

когда уже появилась январская часть моей статьи *под первым заглавием*; тогда редактор вторую, февральскую часть, выпустил *под вторым заглавием*. Не помню, под которым заглавием вышла мартовская часть; но только эта путаница с заглавиями была равно вредна и смешна.

5 Замечательное отрицание *универсальности* морального мерила. Это то, что позднее у Ницше и ницшеанцев получило название: „поверх *добра и зла*" (=„морали"). У Л–ва видно, *сквозь зубы*, неуважение, презрение, почти издевка над „моральным критериумом", который, однако, *по всемирному взгляду*, составляет пафос христианства. Выньте из Евангелия нравственную красоту, отнимите ее у апостолов – и останется что-то неясное и неубедительное, ради чего во всяком случае невозможно было бы отречься от „ветхого" завета, завета „вечного". Нет более *мотива* для перемены „Савла" в „Павла". „Древние говорили вам: *око за око*, а Я говорю: *отдай и рубашку*", „благословляйте клянущих вас" и пр. Таким образом, со своим имморализмом (теоретическим) Л–в встал как бы *против Христа*, в упор, прямо и, завертываясь в греческую тунику, повернулся со словами: „*не нужно! не хочу!!.. и не уважаю!!!*" Это – „бунт" почище Карамазовского, по спокойствию тона, в котором он ведется.

6 Известно, что св. Константин Равноапостольный казнил сына, оклеветанного влюбленною в него мачихою, а затем испек жену в раскаленной бане, когда она ему изменила. Также кроткого и боязливого, послушного ему тестя своего Максимиана Геркулия (прозвище, полученное за громадный рост), будучи недоволен им за какие-то упущения в областном управлении, он вызвал ко двору своему и приказал удавить. Но это не соделало препятствия возвести его, за великие заслуги для церкви, в сонм святых и даже наречь равноапостольным.

7 Вот эта *отчеканенность* мысли Л–ва и сообщает ему, так сказать, *аналитическую* цену; это действительно не то, что „гармонии" Достоевского, против которых как-то не умеешь *упереться*. Видя перед собою *честного* Л–ва, отсчитывающего „добродетели" и „признания", как по счетам пятачки и гривенники, выхватываешь, при виде ужасного итога, у него счеты из рук и разбиваешь их о голову счетчика: „вот тебе, мучитель мой, истязатель души моей!"

8 Вот где *центр* дела: эстетично – то, что *растет*! Не в этих ли мыслях Л–ва сближение с наименованием, у древнего Платона, „Творца мира" Демиургом, *художником*. Он таков не от того, что *соделывает* Вселенную, как столяр – вещь, а что *отделы-*

вает ее, как ювелир, „совершает" (=совершенствует), как бы восхищаясь делом рук своих и в восхищении почерпая новый мотив (пафос) для дальнейшего совершенства.

9 В них вся *суть* Л–ва, разом подымающая его над близорукими современниками, дающая ему преимущество мысли даже и над Д–ким. То-то он его и звал все „Фед. Мих.", с оттенком неуважения, как *моложеватого* товарища. Тут Л–в бесконечно *стар* исторически, точно „перед антихристом", когда уже „разгибаются" книги „за семью печатями" (Апокалипсис). Дело в том, что мы, христиане, вовсе не умеем выйти из орбиты христианского созерцания и, так сказать, каждый луч нашего зрения есть *в то же время* луч „воссиявшего мирови Света Разума". Все – мораль, „люби ближнего", соделывайся „братом ему". *Патолог* Л–в вдруг восклицает: „позвольте, вы *хвораете*! вы *умираете*!! и хворь, и смерть (биологическую) отождествили с нравственным *идеалом*". Но этот патолог в то же время монах: выкрикнув восклицание свое, он весь съежился от страха, ушел весь в куколь свой, откуда глухо несутся стенания: „боюсь! за *душу* свою боюсь!! *адских* мук боюсь!!!" А что такое мука, – он по болезням своим, уже 20-летним, знает. Но и опять же, как вечно болеющий, он не хочет хвори; он разбрасывает пузырьки лекарств, выдвигается вновь из куколя своего, ищет цветного, звучного, „эстетического". „Эстетика универсальнее христианства! Что́ христианство для китайца и римлянина: „*местное* явление!" И т. д. Так, подобно маятнику, качался бедный Л–в между двумя абсолютно противоположными, несовместимыми мирами, идеалами. Но невозможно не заметить, что эстетизм был *натурою* его, а в христианство он все-таки был только крещен; это – первозаконие и второзаконие. Тут – граница для известного афоризма, что „всякая душа человеческая – христианка", „человек уже рождается христианином". Нет этого, и не без причины Христос сказал: „рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" и „нельзя войти в царство небесное, если не родиться (вторично) от Духа и Истины".

14 авг. 1891. Опт. п.

Вчера (когда 1-е мое послание было уже окончено) я получил ваше дорогое письмо и спешу прибавить еще, что *успею*. Я очень озабочен приготовлениями к переезду на Троицкий посад. Переписка с вами, В. В–ч, доставляет мне *уже редкое* по живости своей наслаждение, – говорю „*уже* редкое" потому, что в 60 лет сильно чувствуешь только одно: нарушение физического покоя и вообще телесные страдания; остальное все – и печальное, и приятное – скользит по душе, не оставляя в ней глубоких следов; но ваши письма чрезвычайно утешают и оживляют меня. Буду для порядка и ясности отвечать вам по пунктам.

1) *Наклейки с отзывами* посылаю (2 книжки).

2) Греческие повести подожду посылать, чтобы не отвлекать вас от статьи („своя рубашка к телу ближе"). Пошлю позднее *из Троицкого посада*.

3) Вместо них посылаю довольно любопытную статью обо мне в *республиканском* (вообразите, какой „пассаж"!) журнале *Revue Nouvelle* (г-жи Adam) – *Un portrait* и т. д. – *Чернофф* – псевдоним; настоящая фамилия этого француза *Портье д'Арк*. Он дает уроки в Петербурге. Я, разумеется, *обязан* чувствовать признательность за его „прославление"; но при всем старании быть благодарным, не могу ослепить себя до того, чтобы не видеть его преувеличений и бестактности. И лично биографические сведения не точны, и все

спутано, и фразы без конца и т. д. *Исторический Вестник* не без основания в библиогр. своей заметил тогда: „Что за мысль пришла Г. Чернову знакомить франц. публику с писателем, которым у нас никто не интересуется?" К сожалению, эта заметка *Истор. Вестника* в наклейки не попала. *Ее разорвал в минуту веселости* Влад. Соловьев, говоря: „не хочу, чтобы этот *хам* (библиограф) *поддерживал в вас своею несправедливостью духовную гордость*" (т. е. гордость смирения) и т. д.

4) *О средн. европейце* теперь не могу вам прислать, ибо она в таком беспорядке, что вы спутаетесь, – без разделения на главы, и главы без числа и конца. Отложим это пока.

5) *Два первые* фельетона ваши в *Моск. Вед.* прочел с удовольствием: но 3-го почему-то не видал еще. Я сам не видал *Моск. Вед.*, но мне дают их здесь другие, – и случается, что как-нибудь один номер или два пропустят, а я по лени за цифрами номеров не слежу и спохватываюсь иногда так поздно, что нужного мне номера нельзя и розыскать. Впрочем, когда касается что-нибудь до меня, то любезный иеромонах, их получающий, уже не пропустит этого номера и даже отметит карандашом... Так что 4-й фельетон я надеюсь прочесть, если только *личное* недоброжелательство Петровского (*вполне, впрочем, мною заслуженное*!) не помешает его напечатанию. Ваша манера мыслить и писать очень отвлечена и не всякому доступна; но она *чрезвычайно* изящна, тонка и глубока. Кто может осилить, тот наслаждается. Но для пользы *дела*, понуждайте себя более „иллюстрировать" вашу симпатичную метафизику *примерами, фактами, картинами* и т. п. Я знаю, что привычка к философскому движению мысли отучает от этих „иллюстраций"; но надо пожалеть и тех читателей, которые менее способны к отвлеченной последовательности. Вот и я принадлежу к их числу; и не будь в вашей книге *О понимании* всех этих *примеров* (зерно, прямая линия, круг и т. д.) – я бы в ней очень мало понял.

6) В ответ на вашу просьбу – объяснить вам, что заставило меня оставить дипломатическую карьеру, которая шла так хорошо (и даже **очень** хорошо под *конец*, судя по отзывам кн. Горчакова и обещаниям Игнатьева), и думать о монашестве, скажу вам следующий афоризм: „Полуоткровен-

ность и недосказанность часто больше вредят настоящему пониманию чужой жизни, чем совершенное умалчивание". А *с полной откровенностью* я об этом в *письме* распространяться не могу. Если Бог поможет, наконец, нам увидаться (не отчаиваюсь!), то *на словах* – другое дело! Постараюсь, однако, *кое-как* объяснить... Причин было *много разом*, и *сердечных*, и *умственных*, и, наконец, тех *внешних* и *по-видимому* (только) *случайных*, в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку его внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежат с одной стороны, уже и тогда, в 1870–71 году: *давняя* (с 1861–62 года) философская ненависть к формам и духу *новейшей европейской* жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пиджаки и цилиндры, рационализм и т. п.); а с другой – *эстетическая* и *детская* какая-то приверженность к *внешним формам* Православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сердечных *глубочайших* потрясений (слыхали вы французскую поговорку: „Cherchez la femme!", т. е. во всяком серьезном деле жизни „*ищите женщину*"); и наконец, внешнюю *случайность опаснейшей* и *неожиданной болезни* (в 1871 году) и *ужас умереть в ту минуту, когда только что были задуманы* и не написаны еще: и *гипотеза триединого процесса*, и *Одиссей Полихрониадис* (лучшее, по мнению многих, художественное произведение мое), и наконец, не были еще высказаны о „юго-славянах" все те *обличения* в европеизме и безверии,[1] которые я сам признаю решительно исторической заслугой моей (**сам** Катков этой опасности не понимал, или не хотел на нее указать по свойственному ему оппортунизму и хитрости)... Одним словом: *все главное мною сделано после 1872–73*, т. е. после поездки на Афон и после *страстного* обращения к *личному* православию... *Личная вера почему-то вдруг* докончила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но в *лето 1871 года*, когда, консулом в Салониках, лежа на диване в страхе *неожиданной* смерти (от сильнейшего приступа *холеры*), я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я *ничего этого* предвидеть еще не мог, и все литературные

планы мои были даже очень смутны. Я думал в ту минуту даже *не о спасении* души (ибо вера в *Личного Бога* давно далась мне гораздо легче, чем вера в *мое собственное личное бессмертие*); я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о *телесной* смерти и, *будучи уже заранее подготовлен* (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я *вдруг*, в одну *минуту, поверил* в существование и в могущество *этой Божьей Матери*; поверил так ощутительно и твердо, как если б видел перед собою *живую, знакомую*, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: „Матерь Божия! *Рано*! Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в *высшей степени* развратную, *утонченно*-грешную жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в *простого* и *настоящего* православного, верующего и в *среду*, и в *пятницу*, и в чудеса, и даже постригусь в монахи..."

Через 2 часа я был здоров; все прошло еще прежде, чем явился доктор; через три дня я был на Афоне; постригаться немедленно меня отговорили старцы; но *православным* я стал очень скоро под их руководством... К *русской* и эстетической *любви* моей к Церкви надо прибавить еще то, чего недоставало для исповедания даже „середы и пятницы": *страха* греха, страха наказания, страха Божия, страха духовного. Для достижения этого страха *духовного* – нужно было моей гордости пережить всего только 2 часа *физического* (и обидного) ужаса. Я *смирился* после этого и понял сразу ту высшую *телеологию случайностей*, о которой говорил. Физический страх прошел, а *духовный остался*. И с тех пор я от *веры* и *страха Господня* отказаться уже *не могу, если бы даже и хотел*... Религия не всегда утешение; во многих случаях она тяжелое иго, но кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не расстанется! И всякое *сомнение*, всякое *невыгодное* для религии философствование он будет с ненавистью и презрением *легко* от себя отгонять, как отгоняют несносную муху... А что было после обращения, после 1871–72 года, – об этом рассказывать невозможно *здесь*! Эти 20 лет, от 40 до 60, *я прожил* совсем *иначе*, чем первое 20-летие зрелости (от 20 до 40 лет). Я не говорю – лучше,

безгрешнее, а только *иначе*, совсем с другим основанием, глубже и полнее... В эти же последние 20 лет (после Афона) я и написал все лучшее и оригинальное...

Больше ничего я на этот раз не могу вам сказать.

Приезжайте на Рождество ко мне в Троицкий посад (*если я там останусь*; ибо это только там решится), и тогда о многом скажу яснее и подробнее.

7) Об отце Амвросии позвольте тоже отложить подробную беседу. Скажу только следующее: *святость, признаваемя церковью*, может быть благодатью Божией усвоена людям самых *несходных натур* и *самых разнородных* умов. О. Амвросий по натуре и по уму склада более практического, чем созерцательного. „Практического", разумеется, не в каком-нибудь мелком смысле, а в самом высоком и широком. В том смысле, например, в каком и Евангельское учение можно назвать в высшей степени *практическим*. И любовь, и жестокие угрозы, и высшие идеалы отречения, и снисхождение к кающимся грешникам. Прибавлю еще: он скорее весел и шутлив, чем угрюм и серьезен, – *весьма тверд* и строг иногда, но чрезвычайно благотворителен, жалостлив и добр...

Теорий моих и вообще „наших идей", как вы говорите, он не знает, и вообще *давно* не имеет ни времени, ни сил читать. Но *эпоху* и людей он понимает превосходно и психологический опыт его изумительный. Иногда, впрочем, приказывает себе вслух читать некоторые рекомендованные ему небольшие статьи. Так, мою статью в *Гражданине*, о связи сословных реформ Толстого и Пазухина – с замедлением прихода антихриста, он велел прочитать себе 2 раза и чрезвычайно одобрил. *Он* „равенства и свободы" *не любит, как и все духовные люди.*[2] Sapienti sat!

8) О *Братьях Карамазовых*. Разве я просил их у вас? Совсем не помню. Меня это очень удивило. Не беспокойтесь; у меня теперь они есть; *променялся* на другие книги с одним петербургским „фельетонистом" и „беллетристом", который приезжал сюда, видимо, для „изучения нравов".

9) После 20-го августа уезжаю в *Троицкий посад*. Вероятно, останусь там, если только увижу, что могу там *по своему* навеки устроиться. *Если же нет, то скоро вернусь*. Вы из какого-то доброго и поэтического (видимо) чувства жалеете, что я оставляю Оптину; *а старец настойчиво*, уже с

весны *побуждает* меня к этому переселению ввиду близости (там) именно той самой *хирургической помощи*, к которой и вы мне советуете прибегнуть. От. Амвросий говорит: „Не должен христианин напрашиваться на слишком жестокую смерть. Лечиться – *смирение*". И даже торопит отъездку, пока не холодно. Может быть, у него есть и другие обо мне соображения, о которых он умалчивает.

10) *Ischuria* значит полное и решительное *задержание мочи*. Неправильное, трудное испускание называется *dy(i?)suria. Disuria* пренебреженная ведет к ischuria. Ischuria, если не прекратится никаким средством, влечет за собой скорую и крайне мучительную смерть или: от *разрыва* мочев. пузыря, излияния мочи в полость живота, и острого, в высшей степени болезненного воспаления брюшины (peritonitis acutissima); или от заражения крови *обратно* всасывающеюся мочею (*uremia*); при этом бред, иногда бешеный и т. д.

Вот почему от. Амвросий и желает, чтобы я был ближе к хорошим хирургам. А если бы он сказал: „не ездите и готовьтесь здесь умирать" (как он иным и говорит иногда), то я, конечно, остался бы.

Впрочем, не надо старческую заповедь принимать всегда в прямом и чисто практическом смысле, что „вот все у Троицы еще *лучше* будет". Вовсе нет; может случиться в „земном" смысле и *хуже*; но важны благословение и послушание в „загробном" отношении, в смысле „*трансцендентного эгоизма*".

11) *Заключение*. Я смолоду набрал у Тургенева до 200 р. сер. и не отдал ему. И от многих людей видел много любви, снисхождения и вещественной помощи в течение моей уже долгой жизни. И как-то не стыжусь этого, а рад и за себя, и за людей, что добры. Позвольте же и мне предложить вам такой план: если я, оставшись у Троицы, к Рождеству увижу, что у меня найдутся *вольные* деньги, то возьмите у меня, *сколько будет нужно* на проезд из Белого и обратно ко мне и на прожиток в гостинице в течение *недели* (не менее, а то и более, иначе будет „*смешение*") и будемте разговаривать каждый день раза по два, или хоть по вечерам без умолку от 6 до 11.

Отдадите, когда вздумается. И я должен и медлю, и мне должны хорошие люди и не спешат. Эта *метода* и националь-

на, и одна из самых „христианнейших"!

Надо относиться к этому просто и с сердечной чистотой верить, что нередко дающему давать гораздо приятнее, чем получающему принимать. Особенно – *прошу вас* верить, до чего *мне, полуживому, из эгоизма* дорого было бы свиданье[3] с вами, именно с вами!

Неужели вы сами *постичь сердцем* этого не можете? И неужели Варв. Дмитр. будет вас отговаривать? Я готов буду тогда ей самой написать просительное письмо.

Аминь! Теперь надолго замолчу. **Некогда**! А вы пишите.

К. Леонтьев

[1] „Безверие" юго-славян!.. Поразительно вообще в истории европейской цивилизации, до чего *трудна для европейца* вера! Какие-то случайные и личные скорее *отклонения* в веру, чем *исключения – в неверие*! Паскаль, Амьель, люди странные, вечно больные, охающие, – вот они верили! Чуть солнышко сквозь дождь проглянет, европеец танцует, открывает лавочку, затягивает песенку и о Боге вовсе не думает. Совершенно обратное в Азии: счастливейшие цари, Давид, Соломон, владыки Тира или Ниневии, то воздвигают тысячелетние храмы, то пишут пропитанные теизмом книги. В счастии и в несчастии – азиат всегда мистик; европеец – только в несчастии. Европеец *только когда боится*, – верует (и Л–в: „*страх* – начало премудрости", т. е. *религиозной*); азиат с Богом и тогда, когда мирно пасет скот, среди четырех жен (Ревекка, Лия, Валла, Зелфа у Иакова), рождая непрерывно детей. Почему это? где тайна этого? Где тайна того, что с европейца, как солому с крыши, веру уносит малейший ветерок? „Юго-славяне" – „не веруют", „рационалисты", пиджачники, „техники". А мы, русские? Нет, тут *сорт* „веры", а не одна „слабость верующего". Не от того ветер уносит солому, что она „на крыше", но от того, что она именно „солома". Посмотрите на глубокую трудность внушить „веру" семинаристу, питомцу духовной академии: а ведь только и делают, что „внушают" им ее. Опровержения (веры) – слабы, доказательства – сильны, а все-таки нет плода доказательства. Можно сказать „неверие" родится в Европе, как плесень на сыром месте, „само собою", „везде"; а „вера" выращивается с трудом, как какая-то орхидея, требуя парников для себя, „стечения случайностей", приспособлений, напряжения. Последний пастушонок в Туркестане, в Сирии о Боге *ближе* знает,

проникновеннее скажет (см. хананеянка перед Христом: „Господи! и псы не бывают лишены кусков со стола господина своего", вдовица сидонская перед Илиею: „ты пришел напомнить мне грехи мои", и пр.), чем в Европе первый богослов. Ведь и Л—в вот в этих письмах что *дорогого* сказал о религии, что *взяло бы за сердце*? Религия явно для него или член политической системы, или упрямый предрассудок старика, который решился „отравить час" современникам-безбожникам.

2 Защитим немножко монахов: конечно, „равенства и свободы" *нашей*, из „буйства" происходящей, они не любят; но *лучшие* из них в себе самих, в „братии" своей, в *братстве* своем имеют такое *море* свободы и равенства, в котором наша исчезает, как ручеек в океане. Они нашли *без родства* (аскетизм) дух и форму и сущность родства: вот их секрет. Истинный (высокий) монах уже не имеет осуждения миру; но не по равнодушию к греху, даже не по снисхождению, что было бы гордостью сильного в отношении к слабому, а по *орлиному лету* своему и по *отцовской* к миру нежности. Вообще монашество, лучшее, истинное, содержит в себе некоторое *психическое чудо*, притом новое, до Христа не бывшее. Тут какой-то синтез Евангелия (*припоминаемых* его речений, притч, образов, даже смысла) и природы; тут во всяком случае много лесов, лесного запаха, ландышей, звезд, далекого горизонта, вечного уединения и *углубления в себя*, — словом, много *пантеизма древнего*, но, так сказать, (как в музыке) поставленного „на другой ключ". Этим „другим ключем" была „благая весть" Христа. В Нем они получили Лик „взявшего на себя грехи мира", Лик во всяком случае Прекрасный, Неизъяснимый. Ландыши и запах лесов слились с человеческим образом („Сын Человеческий"), и получилась религия вместе: и *в отношении к Богу*, и *глубочайшей человечности*. „Равенство, братство и свобода" тут слишком живут. *Французскую* „свободу и братство" монахи не пускают к себе, как *обезьяну* — люди, ибо там (на западе) действительно явилась лишь „гримаса" и братства, и свободы. Тут Д—кий в отрицании западных „идеалов" был прав, как и вообще славянофилы. Но граница монашества, и абсолютная граница, начинается со следующего. Положим, я отрок: мне 14—16—19 лет. Я несу в себе целый мир потенций энергичного, страстного, веселого, предприимчивого, трудолюбивого. Монах (высший, идеальный) все это не осудит, даже похвалит! но какою-то вялою похвалою, — и в этом весь секрет, мировой секрет монашества!! Дело в том, что в самом монашестве нет *энергизма к деятельности*, и „отрицание мира", „ухождение из мира" все-же есть его корень, не переменимый,

вечный, существенный! Сопоставляя два выражения: „Тако Бог возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного отдал за него" и „не любите мира, ни того, что в мире", мы первое находим одиноким, а второе подпирается такими краеугольными выражениями, как восклицание Самого Христа и притом в *центральные* мгновения служения Своего: „Мужайтесь, Я *победил мир*", „Ныне *суд князю мира сего*", „видели ли вы Сатану, *спадшего* с неба?" Через это, самое „принесение Сына за мир" изъясняется не в смысле принесения Его *за мир сущий*, но – *для преображения мира*, и лишь в этой „преображенности" спасаемого. Теперь, – наши „энергии" в мире все суть обыкновенные, „не преображенные", и монахи не осуждают их, однако им никак и не сочувствуют. В конце концов „монашество", будучи „чудом психическим", однакоже, в корне содержит все-таки некоторое „испепеление" бытийства, бытийственных вещей (отсюда буря против него Петра Великого, да и всех *энергических* людей). В монашестве вообще скрыт еще не разгаданный мировой секрет. Иногда оно мне представляется Живою и Личною Смертью: тихим увяданием с радостью на свое увядание. Ибо *побежать, прыгнуть* (действия *безгрешные*) монах все-таки никак не может, не *потеряв всей своей сути*; *захлопать в ладоши*, ну, напр., при виде подвига святости, – не может же! *Улыбнуться* – да, может. Вообще *тихость*, штиль *планеты* целой, и, в последнем анализе, смерть – вот суть монашества. Может быть, мы, умирая, „преображаемся"; тогда в монашестве предчувствие „рая за гробом". Но тогда „лилии" этого рая слишком безжизненны; а ведь „древо жизни" (в *Апокалипсисе*) двенадцать раз в год приносит плоды!! Апокалипсис, как и Библия, как седмисвечник в скинии завета – все это „нет! нет! нет!" в отношении к монашеству, самому безукорному.

3 Конечно, все очень легко было исполнить, но какая-то лень и суеверие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже в представлении о невиденном человеке, заставило меня нисколько не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нем. Так мы и не свиделись. А in concreto человек всегда интереснее и лучше еще, чем по писаниям, письмам. Сужу по Страхове, которого долго знал, и из знания этого извлек бездну наслаждения, пользы. „Точно путешествуешь по Финикии, по Африке" и пр., знакомясь с новыми любопытными людьми. Новый человек интересен, как и новая страна. Но я всегда ленив был к таким „путешествиям".

20 авг.

Я еду решительно 24–25-го.

Посылаю вам все отзывы,[1] какие только у меня есть. При свидании расскажу еще много любопытного про Каткова, Аксакова и мног. других.

Прошу вас убедительно *никому* этих наклеек не давать и не показывать (разве только брату вашему, если он с вами так единомыслен и близок). Большую часть *заметок пером* я сделал *теперь* и *собственно для вас*, так как вы желаете поближе познакомиться с моим литературным прошедшим. Но я бы не желал, чтобы эти заметки были в нескольких руках.

Вы спросите, может быть: „Какие же тут секреты?"

Секреты, не секреты, а есть такие „оттенки" в этих примечаниях, которые я бы, вероятно, изменил, если бы писал их не для вас, а для кого-нибудь другого, который внушал бы меньше доверия, чем вы.

Вам я инстинктивно верю, т. е. вашему участию и вашей искренности, а главное – вашему утонченному *пониманию*.

Теперь я долго не буду вам писать. Некогда. Но из Троицы пришлю адрес свой.

P.S. 21 авг. Сейчас только окончил чтение вашей статьи *Европ. Культ.*[2] и т. д. (в №*16* авг.). Опять приходится сказать еще раз: „*Ныне отпущаеши*".

К. Леонтьев

[1] Критические о себе.

[2] *Европейская культура и наше к ней отношение* – четвертый и последний фельетон в *Моск. Ведом*. за 1891 г., август. Тут говорилось о Л–ве и его теориях.

3 сент. 1891. Троицкий посад

Дорогой и многоуважаемый Василий Васильевич. Наконец я кое-как добрался до *Троицы-Сергиева* и остаюсь здесь по крайней мере до лета; а вернее, что навсегда. Пока совершенно одинок, не выхожу из номера по слабости и скучаю по Оптиной. В Москве пробыл всего двое суток; были у меня Говоруха-Отрок, Грингмут, Александров и друг. Говорили о вас – и здесь я *воочию* увидал всю ту пользу, которую вы мне сделали даже и маленькой статьей в *Моск. Вед*. Я это предвидел; но в Москве убедился уже вполне.

Весьма было бы приятно получить от вас весточку.

Адр. в *Новой Лаврской гостин*. №24.

Ваш К. Леонтьев

13 сент. 1891. Сергиевск. посад

Неоцененный и единственный в мире (для *меня*, разумеется; вы сами теперь, я думаю, это понимаете?) Василий Васильевич! Слушайте, что я вам скажу: ровно год тому назад Влад. Серг. Соловьев взял у меня книгу, в которой наклеены все *последние* и *вам неизвестные* статьи мои в *Гражд.* (от 1887 до 1891 г.). Взял он ее у меня с целью писать что-то и где-то об „идейном консерватизме", которого представителем он меня считает. Но увлеченный ближайшей к его делу борьбой и по другим неизвестным мне причинам статью до сих пор не окончил, продолжая от времени до времени извещать меня, что ни за что все-таки не откажется от этого намерения. Откажется или не откажется, но я эту книгу теперь взял у него для того, чтобы издать 3-й том *Вост., Россия и Славянство*.

При этом я обещал возвратить их ему к 1 декабря; надеюсь, что через неделю, не более, друг мой Александров начнет переговоры с типографиями, и так как я настолько неизвестен или малоизвестен, что без наличных денег он, пожалуй, и не скоро найдет то, что мне нужно, — то книга будет до тех пор напрасно лежать у меня (показывать ее хозяевам типографий не нужно; они большей частью ничего и так не поймут, и с них достаточно перечня заглавий; я уже испытал это). Вследствие всего этого я подумал, что могу на целый месяц (напр., до 1/2 октября) предоставить ее в ваше

распоряжение, да кстати же пошлю вам и некоторые отрывки из консульских моих воспоминаний, которые были тоже в разное время напечатаны в разных газетах. Эти воспоминания, вероятно, тоже войдут в 3-й том.[1]

Вот, что я хотел вам сказать. Завтра пошлю купить коленкор и велю зашить посылки.

Давно вы мне ничего не пишите; я уже соскучился без ваших писем.

Я здесь теперь живу в глубочайшем одиночестве в гостинице и никуда через дурную погоду не выхожу.

Грущу о милой Оптиной; но делать нечего! Теперь до мая прикован!

Ваш К. Леонтьев

[1] И *до сих пор* этот 3-й том не издан. Fatum. Вообще слова мои, что Л–в гораздо больше любил людей, чем люди его любили, – мне думается, верны и много объясняют в его судьбе.

18 окт. 1891 г. Серг. пос.,
Новая лаврская гостиница

Если бы я знал, Василий Васильевич, что мое долгое молчание потревожит вас, я бы давно написал вам хоть 5–10 строк. Но *именно вам* мне всегда хочется написать не 5 или 10, а 5 000 строк. И потому иногда откладываю. К тому же, сознаюсь, к стыду моему, я стал ленив и *приступить* к какому-нибудь делу, которое мне кажется серьезным (а таковым я считаю нашу переписку), просто боюсь.

Вы спрашиваете, сержусь ли я на вас или болен? Ни то, ни другое, т. е. болен, как всегда, а не особенно; но сверх той лени и тех промедлений и колебаний воли, о которых я сейчас говорил, я во все первые числа октября был очень озабочен и занят счетами и деловой и хозяйственной перепиской. В жизни моей теперь крутая перемена, или, вернее, несколько перемен, в зависимости одна от другой. Главное то, что я, так сказать, разрушаю теперь свой домашний, семейный строй, крепко сложившийся за последние 11 лет, и в ожидании возможности поступить куда-нибудь *в ограду*, поселяюсь пока здесь один, в некоторого рода „безмолвии". „Безмолвие" по-монашески не значит „молчание"; это значит более или менее *беззаботное*, беспопечительное *одиночество*, разумеется, с постом и молитвой. И древние отцы различали два главных рода иночества – *послушание* (в общине) и *безмолвие* (одиночество).

Кстати сказать, я перешел из №24, в особую, весьма *просторную*, но тихую и с виду очень монашескую квартиру, *со сводами* (*средние века*), внизу той же гостиницы, и *очень* ею доволен. *Для друга найдется место*. У меня около Оптиной было заведено целое хозяйство в особой усадьбе; своя мебель (Кудиновская, материнская, даже *1811* года, приданое!) и т. д. Большая, хорошая библиотека. Обо всем этом нужно было писать, распоряжаться, что продать, что пожертвовать, что мне оставить. Конечно, все это было уже заблаговременно решено и благословлено покойным старцем (вы, разумеется, уже знаете теперь, что он 9 октября скончался). Как бы то ни было, вы понимаете, что в первое время забот тут много. (Не помню, писал ли я вам, что жена у меня *слабоумная*?). Надо было и ее устроить у добрых и верных людей и т. д.

Теперь, когда я все это перечислил, вам будет ясно, что можно было мне и не сердиться и не особенно болеть, а все-таки не писать.

Кончина моего старца от. Амвросия не застала меня врасплох; он был так слаб, что я дивлюсь, как он мог еще дожить до 79 лет. Я столько лет ждал со дня на день его смерти, что теперь ничуть этим не поражен. Понимаю, конечно, что встретятся еще не раз случаи, если проживу еще долго, когда я буду восклицать: „где от. Амвросий"!... Но что же делать! Воля Божия! Господь, *если нужно*, и другого человека нам пошлет!

До получения известия, я каждый день поминал его имя на молитве за здравие, а после стал поминать за упокой. И только... Но для многих других, не столь приготовленных, или по *сердечному* (не чисто-*духовному*) чувству, безгранично ему преданных, это очень тяжело. Я знаю даже таких, у которых личное к нему чувство было сильнее самой веры в церковь. Мое чувство к нему было более духовного оттенка; я его слушался, избегал делать что-нибудь важное без его благословения; видел от него много *всякого* добра (даже и *вещественного* в *прежние трудные времена*); но так страстно, как другие, привязан к нему не был. Я уверен, что есть люди (особенно пожилые монахини), которые надолго его не переживут, да есть и молодые мужчины, за *веру* и *будущность* которых я несколько боюсь; для них от. Амвросий был *все*.

Страхова статью (о Л. Толстом) прочел с негодованием, отвращением и бешенством! Какая хитрая, подлая статья; и с другой стороны – какая рабская преданность Толстому!..

Я так был взбешен этой статьею, что хоть сейчас возражать, и возражать грубо, беспощадно и т. д.

Но, разумеется, писать не стал. Я никогда полемикой с *отдельными лицами* не занимался, а теперь и тем более мне не до нее, когда я только и думаю о том, как бы поскорее расплатиться с некоторыми (старыми) долгами[1] и *вовсе перестать* писать.

Когда я в последний раз, прощаясь с от. Амвросием, – говорил ему об этом *новом моем чувстве*, года два, не более пробудившем впервые и все растущем, – об *отвращении к писанию*, не к чтению других авторов, о нет, но *к собственному* писательству, он мне сказал: „Ну, поправляйте, *издавайте старое*, а нового ничего не пишите, *разве по нужде*" (т. е. для уплаты долгов и для помощи ближним).

Помоги мне, Господи, исполнить завет этого святого человека.

Варваре Дмитриевне передайте, что у меня *особо сильных страданий*, боли нет, при моих сложных и неизлечимых недугах; только иногда душит до слез нервный *гортанный* кашель. Но и в этом я отчасти сам виноват, – *курю*; с помощью Божией, впрочем, стал гораздо меньше курить, а все-таки еще курю. Вот за этот грех и казнюсь поделом.

(Для других курить не грех, а для *меня грех*.)

Ну, а что вам сказать в ответ на то, что вы говорите о Вронском и вообще о наших людях власти... Не знаю! Разве то, что понемногу сами дойдете с вашим *умом* и вашим *вкусом*. Если мои книги не растолковали вам, *почему* может и *должен* нравиться *Вронский*, то что может сделать письмо?

Помните, вы писали мне, что понимаете, почему мне нравились с одной стороны *Бодянский*, а с другой – *разбойник Сотири*? Неужели Вронскому и рядом с ними[2] места не найдется! И т. д. и т. д...

Нет, еще все тот же припев:

Надо нам видеться.[3]

Ибо рядом с полнейшим согласием у нас с вами есть непостижимые недоразумения... Так, например, для вас лица Достоевского *просты* и *естественны*. А для меня они почти

все отвратительно *изломаны.*[4] А вот именно Вронский-то для меня прост и естествен; всех „изломаннее" в *Анне Карениной* – это Левин. Одно это „искание" меня бесит... „Искатели" должны быть *редки* и *велики умом.*[5] И тогда они стоят внимания. Так и было в старину, а теперь этих вредных искателей, как собак, и кроме ненужных страданий и вреда от этого ничего не выходит. Что касается (вы пишете) до *иностранного принца*, в котором Вронский увидал в увеличенном виде свои же черты и сказал: „неужто и я такая глупая говядина!" – то это со стороны Толстого гениальный взмах кисти, – но со стороны Вронского *просто ошибка*, от тяжелого собственного настроения. И принц, и он сам – *здоровые* крепкие, *светские* люди, – и прекрасно. А что *мы*, кабинетные, или вообще „штатские" люди не таковы, нам же хуже. Кстати, скажите: который из двух героев романа *Анна Карен.*, в *случае* религиозного переворота, стал бы *просто православным*, ездил бы к отцу Амвросию или даже стал бы примерным монахом. Конечно, Вронский, а не несносный этот Левин (такой же *противный* лично, как сам Лев Николаевич).

Постарайтесь приехать...

Умру, – тогда скажете: „Ах! Зачем я его не послушал и к нему не съездил"!

Смотрите!.. Есть вещи, которые я *только вам* могу передать.

К. Леонтьев

[1] Из писем Л–ва к г. Губастову (ныне русскому резиденту при папском престоле, долголетнему сослуживцу и другу Л–ва), напечатанных в *Русском Обозрении*, видно, что это были крошечные, в несколько десятков рублей, а один в немного сотен рублей (200–300), долги разным знакомым еще в Турции. Л–в постоянно этим тревожился: и не тем, что он *должен* деньги („честь моя не очищена"), а тем, что, быть может, эти деньги очень нужны и, во всяком случае, очень пригодились бы давшему их. Не на меня одного эти тревоги, среди болезней и страшной собственной бедности, производили впечатление необыкновенной душевной чистоты Л–ва.

2 Конечно, не найдется. И Бодянский, и Сотири – фигуры *оригинальные* и *независимые*. Вронский же, хоть и блестящий гвардеец, также есть только продукт *среды* и *времени*, результат *обстоятельств*, как и ,,средний европеец", ,,либеральный земец" или ,,либеральный адвокат" (категория понятий Л–ва). Он *мне* и *Л–ву* представляется ,,оригинальным", ,,фигурою", – *потому что мы не военные*; как и мы ему, верно, представились бы ,,фигурными". Л–в в оценке Вронского исходил из эстетического идеала, между тем эстетичного-то ничего во Вронском и нет. Разве что эполеты позолочены лучше, чем у других офицеров. Но слова эти мои не затрогивают (как, вероятно, думал Л–в) эстетики вообще в ,,бранных кликах", в воинском лагере, дремлет ли он ночью перед грозою, или пробужден и разразился сам грозою. Древние, начиная с египтян, имели ,,бога войны". Война есть вообще категория, трудно постижимая ,,для штатских" (напр., писателей), но она есть именно категория, мир особенный и сильный, со своею тайною и сущностью. Но, как и все в Европе, война стала в ней неэстетичной: это тот же ,,телефон" и ,,рельсовый путь", машина чудовищная, где очень мало лица человеческого. Войска Густава Адольфа и Валленштейна, войска Кромвеля или Генриха IV, Карла Великого или Омара – это вовсе другое, чем наши войска! Прежде всего была идея, великая, священная, за которую неслось оружие. В сущности, только *священная война* и понятна, допустима. Но когда два дипломата, сокровенно от народов и даже мало понятно для своих государей, хитрят друг с другом, хитрят год, десять лет, пятнадцать лет, – а на 16-й год у одного хитрости не хватило и другой бросает войска на нацию, как бульдога на мышь (Бисмарк на Францию), то получается зрелище кровавое и бессмысленное, также мало эстетичное, как крушение товарного поезда или проигрыш в рулетке. Л–в же пересаливал: и одобрял не эстетику небесную (в отражениях на земле), а звон шпор, позолоту пуговиц, ,,la nature morte", как говорят художники. Красив дождь и радуга. Но ничего особенно красивого нет, когда учитель физики перед классом учеников повторяет их в физическом кабинете.

3 Подчеркнуто тремя чертами. Вообще при печатании этих писем жирный шрифт передает тройное или двойное подчеркивание слов, нередкое у Л–ва. И еще оговорка: везде слова: ,,церковь", ,,православие" у него написано с прописных букв, что не передано при печатании этих писем.

4 Ну, что же, и лица Шиллера, и Фауст у Гете разве не ,,изломаны"? не ,,изломан" ли и Гамлет? Тут Л–в идет против *вымысла*,

идеализации в художестве, возвращается к *натурализму*, который сам же так неистово отрицал. Д–кий, конечно, не срисовывал типов с действительности, а выдумывал человека; однако, выдумывал его, повинуясь глубочайшему знанию человечности. Таким образом, пожалуй, он „человека" и не верно рисовал, зато очень верно – человечество. До поразительности, до ослепительности. Выбросить его из всемирной литературы, из дум человека о себе, так же невозможно, как выбросить Шекспира, Гомера, Моисея, пророков.

5 Все это очень верно. Но „великий искатель" может вырасти на почве „вообще ищущей", а не среди квиетизма и успокоенности. В нижеследующем рассуждении о Вронском и Левине заметим следующее: ну, ввести бы Леонтьева в целый эскадрон Вронских, или в факультет Левиных, Раскольниковых. К Вронским, в их залу, Конст. Никол. Л–в вошел бы с азартом восхищения, почти неся букеты из белых роз. Но кончились приветствия, прошел час рукопожатий, все усаживаются или так бродят по зале или казарме. Скучно Константину Николаевичу. Никто не понимает ни его „триединого процесса", ни восхищения к Бодянскому или Сотири. Все очень одобряют болгарских либералов, а о патриархе константинопольском просто говорят, что его надо сбросить в Босфор. Но и об этом говорят не настойчиво, а просто танцуют и едят бутерброды. Л–ву просто тут нечего делать: и, задыхаясь, в конце концов он бросился бы вон. В залу или, пожалуй, в студенческую „столовую" он вошел бы, пожимая плечами и аристократически морщась: все в плэдах Раскольниковы, Разумихины, Левины. Он оборвал бы и был бы оборван (в речи), но понимаемый и понимая. Он заспорил бы, и, не заметно, *годы* бы проспорил, не скучая здесь, найдя бы учеников или учителей, найдя вождя себе или „верных", как воины Густава Адольфа, солдат своим идеям. Кому же в сочинениях своих говорил Л–в? Распросите среди Вронских, „знакомы ли они с сочинениями Леонтьева, столь замечательными в историческом и политическом отношениях?" И не слыхивали. А какой-нибудь бедный студент, из ненавидимого Л–вым типа, ломает над ними голову, ворошит волосы, хватается за перо, пишет им *апологию* или страстный *протест*. Увы, все сочинения Л–ва похожи на страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом. Он оттого и прошел *мимо* публики, *мимо* читателя, что „Дульцинея" этого героя Ламанчского просто не слушала его „изъяснений в любви"; а кто его мог бы выслушать и любить, тому он сам не сказал ни слова привета. Мы любим *не сродное* с нами: Л–в сам, конечно, был „вечно ищущий" и гениально ищущий Левин, Раскольников, до *преступности* в „исканиях",

до святотатственности, до великих посягновений (отношение его к христианству). Оттого он, как исполин на карликов, и посмотрел на *литературные портреты* (т. е. в их романах) Достоевского и Толстого. Но „портреты" – Бог с ними: с Достоевским и с Толстым Л–в разошелся, как угрюмый и непризнанный брат их, брат чистого сердца и великого ума. Но он именно из их категории. Так Кук открыл Австралию, Колумб – Америку, и хотя они плыли по румбу разных показаний компаса, однако, история обоих их описывает в той же главе: „великие мореплаватели". Сущность этого „великого мореплавания" заключается в погружении в умственный океан, в отдаче всего себя, до последних фибр, до злоключений, до опасности и личного несчастия – диковинкам его глубин и отдаленностей. Все три они, и Достоевский, и Толстой, и Леонтьев, не любили берега, скучали на берегу. Берег – это мы, наша действительность, „Вронские". В „скуке" Л–ва было много капризов, изгибов, которые и разобрать трудно. Он был гораздо менее прямолинеен, чем названные два писателя, отрицания которых не допускают сомнения о себе, как и положительный их идеал. Леонтьев – весь в капризах, как женщина: он делает ложные „изъяснения в любви", как ложно же негодует. Он любит страстно и мучительно, никак не менее, чем оба названные писателя, но никак не может сказать, от застенчивости или неопытности, *кого* именно и *почему* он любит, говоря стихом поэта:

Любовью безумной и страстно-мятежной.

Во всяком случае, из этих трех категорий людей: монахов, „государственников", „искателей", около его могилы бродят тени только последних. И к ним, и к нему идет этот стих Пушкина, вызванный видом царскосельской статуи:

Урну с водой уронив, – об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой,
Дева над вечной струей, вечно печальна сидит.

Вода, вечно бегущая, и этот разбитый „не нужный" черепок – как хорошо это выражает биографию Леонтьева, не удавшуюся, несчастную, около глубокого его мышления. А неосторожная „урно-носительница" – это умная часть нашего общества, пожалуй его „искатели". Правда, они „разбили" сосуд, но они же его и оплачут слезами длительными и осмысленными.

Письмо это было последним. Леонтьев умер 24 дня спустя после написания последнего из здесь приведенных писем (12 ноября 1891 года). Он умер не от своей мучительной болезни, а от той самой pneumonia, пример которой избран (в *Византизме и славянстве*, центральной философской у него статье) для объяснения признаков смерти в своем „триедином процессе". Дурная погода, встретившая его у Троице-Сергия, на которую он уже жалуется в последних из этих писем, не заставила его поберечься. Он схватил простуду: развилось воспаление легких, болезнь не смертельная в молодости, но в возрасте 60 лет роковая. И он умер, прохворав недолго и не страдав исключительным страданием. Мысль обрадовать его напечатанием большой о нем статьи все время не оставляла меня: но, к сожалению, именно этот 1891 год был для меня полон исключительных хлопот, забот, отчасти – опасностей. Телеграфное известие о его смерти, прочитанное в газете, поразило меня удивлением и жалостью. Мало к кому я так привязывался лично, темпераментно. Собственно, мы любим людей *по степени того, насколько глубоко они проходят внутрь нас*. Один где-то пополоскался во рту, другой – прошел в горло и там застрял, третий – остановился на высоте груди; и лишь немногие, очень немногие за всю жизнь, проходят совсем внутрь. С Леонтьевым я испытал последнее. Личность его еще не озарилась для меня

тем мягким, снисходительным, прощающим и любящим светом, какой исходит из его рассказов: *Из жизни христиан в Турции*. Я знал его лишь в суровых и беспощадных чертах его философии, политики и публицистики. Соловьев верно формулировал его мысли в термине: „идейный консерватизм". Определив фазу 19-го столетия, как фазу „предсмертного смешения", он захотел ей сказать, как некогда Иисус Навин о дне сражения: „стой, солнце, и остановись, луна". Конечно, он знал, что ничего от его крика не остановится, разве что не надолго, слабо. Все царствование Александра III он приветствовал как эту нужную исторически „остановку"; на царствование Александра II, особенно после первых дней, смотрел, как на несчастие русское и даже как на несчастие европейское. „Люди умирают", – и надо это умирание остановить. Известно, что и Вл. Соловьев посмотрел на фазу нашей истории, как на предсмертную, – в последние дни своей жизни (*Три разговора*, предсмертные беседы с проф. С. Трубецким). Но он не произнес: „стой", и ничего вообще в сторону „смерти" не произнес, если не считать таких неудачных вещей, как стихотворное приветствие императору Вильгельму, двинувшему войска свои на „гогов и магогов" (китайцы). Но так ли они были оба правы? Есть ли вообще основание для такого окончательного пессимизма? „Человечество износилось: в цивилизации нет больше *зарождающихся идей* и в то-же время *этнографический материал* hominis sapientis исчерпан". Так они оба думали. Но в каком смысле можно оказать, что, напр., русский народ „исторически износился", если *буквально* он живет сейчас не сложнее и не душистее, не „развращеннее" и не культурнее, чем при Владимире Мономахе? *Буквально* свежесть его и остается, как при Владимире Мономахе? Если у западных народов, германцев и романцев, в движение приведена вся масса народов, „вскисло" и „взошло" уже все, что способно к этому (хотя и это *хорошо ли мы знаем*?), то на пространстве восточ. Европы жили историческою жизнью буквально тысячи, а не миллионы; *люди и человеки*, а не *народы*. Наконец, прожили ли и отжили ли *мусульмане*? Что такое *еврей* и *кончено* ли с ним? Явно, что *главные узлы* истории даже и не завязывались, а не то, чтобы развязались в прямую и гладкую, рациональную, понятную нить. *Ничего*

в истории непонятно, – значит, вся она *еще в будущем*. Жизнь греков, римлян, уже ко временам Александра Великого и Тиверия – изъяснилась внутренним изъяснением, равно была понятна для Фокиона, Демосфена, Ювенала и Тацита. Нам все еще ничего не понятно из хорошо известных фаз всемирной истории: что? для чего? чем все кончится? Т. е. *главнейшие части* всемирной истории просто даже не начались; все еще идут только „подготовительные члены". Не только совершенно крепок „жид", и не для всемирного же торга он создан, – не только не тронуто ядро русского племени, не жила вовсе Литва, ничего не сказали угрюмые финны: но посмотрите на свеженьких, как ядреное яблоко, татар „с халатами": неужели эти молодцы, эти явные дети, нимало не развращенные (признак смерти, разложения) не способны прожить час хорошей истории?! Право, и Соловьев, и Леонтьев судили человечество по петербургским адвокатам, петербургским журналистам, неудачным профессорам московским, харьковским, киевским. Бог с ними! Какая же это фаза „всемирной истории". Просто – это неудачные современники.

Два-три века сереньких людей и сереньких событий – и то еще ничего определенного не говорят о *плане* истории, о „конце" всемирных событий. Что можно было представить себе глуше, печальнее веков VIII–XIV византийской истории? Вот история глухонемого, вот века глухонемые. И прошли. И ничего. „Все разлагается", томились они. Но не образуется ли чего-нибудь вновь? Три эти кардинальные факта: жид, мусульманин, христианин – даже и не разговаривали еще между собою иначе, как в миссионерском перевирании и наивности. Целые миры цивилизации, так сказать, еще не „сняли друг перед другом шапки", не поздоровались, прямо – не посмотрели друг на друга. Все еще замкнуто, сомкнуто. Какие новые, громадные, неожиданные картины могут быть выброшены из жерла всемирной истории, когда придут в настоящее касание эти кардинальные ее камни. Само христианство казалось „изжитым" обоим писателям, ибо оба они видели, что оно переходит „просто в мораль", а эта мораль просто сливается с „либерализмом и прогрессом". „Я бы обрадовался секте скопцов", – говорит Л–в в одном из приведенных писем. Но почему не взять секту

обратную, столь же живучую, страстную, мистическую? Вообще Л–в был слишком теоретичен, слишком обобщенный человек, не вглядывавшийся и даже просто не знакомый с *любопытнейшими подробностями.* Ну, если взять, напр., наше *русское сектантство* (*не* старообрядство), то ведь уже одно оно во всяком случае не говорит о „потухшем кратере человечества". Мало ли там чего есть. Если от мира сект этих обратимся к общему их основанию, на которое все-же они *ссылаются*, приводят из него *оправдание* для себя, к Евангелию, – то вот мы уже найдем источники для „рек воды живой", еще не пролившейся. Бедный до несчастья, Л–в ссылался на „*том 5 Догм. Богословия Макария*", но ведь всем (и духовн. лицам) хорошо известно, что это компиляция латино-немецко-русская. Взял бы он Кальвина, Меланхтона, наших Аввакума и Селиванова, т. е. *углубленных мыслителей* над Евангелием, – и ум его запутался бы, вошел бы в калейдоскоп узлов религиозных, которые его заняли бы более „гран-пасьянса". Поразительно, что в письмах его нет ссылок на ап. Павла, да и на Евангелие – почти нет, а только на „предания оптинских старцев". Т. е. он *сам* не погружался в стихию и глубь Евангелия. Вообще, в „грозе истории" оба они не жили, а только пользовались „от дождя" ее. А в „грозе"-то и интерес, там и бесконечность. Там и надежды жизни. Нельзя отрицать, что оба они жили в бездарную эпоху; но при всей любви и благоговении к их памяти невозможно не заметить, что и сами они не смогли эту сторону современности преодолеть, и легли в ней костьми, хотя чрезвычайно томясь. *Счастливы*, свежи, радостны они были бы только в великую эпоху. Это слишком ясно из биографии, из всего духовного их образа. Явно, они были „рак на мели", „рыба на берегу". Потопа новых вод на берег, прилива „на мель" – вот чего подъять, не физически только, но и духовно, у них явно не было сил. Они были не только „на мели", но и сами не были „левиафанами". Отсюда грусть их имела причины быть удвоенной. Немного в истории русской есть таких грустных и изящных лиц. Над своим временем они поднимались высоко. Оба – мы это знаем – тянули к прошлому, к далекому прошлому, древнему, древнейшему. И хочется кончить сравнением их с теми встающими из могил мертвецами, которые высоко-высоко из них под-

нявшись, вопили что-то и со стоном падали назад, – когда в утлом челне, с казаками и женой, проезжал по Днепру Бурульбаш (*Страшная месть* Гоголя). В словах этих да не будет прочитан жестокий упрек: во всяком случае очевидно, что и Леонтьев, и Соловьев центральным идеальным содержанием относились к давно прошедшему, один – усматривая его в средневековой теократии, другой – в чем-то среднем между романтической Европою и византийской недвижностью. Только Соловьев древний идеализм свой смешивал с „новыми либеральными идеями”, распространяя умственные приобретения „адвокатов и журналистов” на суждения о церкви и христианстве; Леонтьев же идеализм свой ни с чем не смешивал. Таким образом разница между ними уже не была так огромна. Вл. Соловьева прямо тошнило от „теократии” pur sang, без либерального „подкрашивания”. Он требовал духов на гроб, около которого плакал. Леонтьев считал духи „современной нечистью”: добрейший и благороднейший человек, он указывал, „всем жертвуя”, на игуменью Митрофанию, не предвидя, не рассчитывая, что она отобрала бы от него все те весьма и весьма „либеральные книжки”, какие он любил потихоньку почитывать, и свела бы его быт к такому рассудочному и утилитарному счету поклонов, вставанию по утру во столько-то часов и немедленному засыпанию на ночь, „без грез и вдохновения”, – от которого он, изобразитель красивого мусульманства, пожалуй, перешел бы сам в мусульманство. „Все-таки там гурии”, – заметил бы великий скептик. Они ужасно многого оба не разобрали в прошлом: не разобрали, между прочим, и того, что томившая их современность, включительно с *рационализмом* и *бездушным материализмом*, есть только телесные останки, однако вытканные тем самым духом, отлет которого из тела они оба оплакивали; что между тем, что оба они так любили и что ненавидели, есть связь не хронологическая только: 9-й век – 19-й век, но органическая: 19-й век *весь вытек, до мелочей, до подробностей*, из 9-го в. Детское нарядное платьице, розовое, с лентами, – и старушечий чепец надеты на одно и то-же существо, и даже оба они надеты, повинуясь *одному вкусу, моде и стилю*. Возьмем *старость* мусульманства, еврейства, Китая, как ее можно представить или как она есть (что я отрицаю): совсем другие

пороки, иные слабости, иные излишества. *Совсем иной будет стиль старости*. Возьмем Грецию и ее падение, возьмем Рим в падении, Персию: совсем иная картина, чем засыхающая (положим) Европа в 19-м веке. Европа 19-го века трудолюбива, деятельна, скромна. Она нимало не „порочна", не сластолюбива, не роскошна, не изнежена. Рабочий, приказчик, учитель, перебивающийся на крошечном жалованье офицер – вот ее типы. По отсутствию пороков – им бы тысячу лет жить. Но они до того прозаичны, так пронизаны „светским" (laici), в такой степени „инструментальны" (=машинны), что *им самим* кажется невозможным жить; и остаток души в них, *память* о душе своей бессмертной, разбивает иногда эту куклу, оставшуюся от человека (самоубийства, в 70-х годах 19-го века чуть не эпидемические). Во всяком случае тут смерть не от пресыщения и излишества, а от *бедности, нищенства*. „Блаженни *нищие духом*" – слов этих не в силах повторить с верою (пафосом) те, кто до такой глубины переживает это нищенство. И Соловьев, и Леонтьев – оба поражены были страшным нищенством своей эпохи; „мертвыми душами", которые от времен Гоголя к их времени еще более умерли, еще страшнее стали походить на мертвецов. „Скопческое сжимание планеты", – так выражу я астрально это субъективное чувство.

Сейчас нет самоубийств. Да и вообще нет той страшной и особенной, непереносимой печали, какая у названных писателей совмещалась с центром их идеализма. Все они, включая сюда и Гоголя, шли по стезе тезиса: „не любите мира, ни того, что в мире: похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую". Они были не только историческими жертвами, но частью и провиденциальными орудиями того, что я назвал „планетным ссыханием", которое могущественно и всеобъемлюще, как некогда был ледниковый период на земле. Но не окончательно и не абсолютно, как этот же период. В одном месте писем Леонтьева читатель заметил выражение, что „лучше десять мистических сект *вроде скопчества*, нежели одна гениальная философская система" (для России). В 1894 году, только что познакомившийся с Соловьевым и со мною, покойный Ф. Э. Шперк передал мне, не без удивления, весьма сочувственные слова Соловьева о принципе оскопления, как радикального средства

отвязаться от угнетающей нас „плоти". Да и в самом деле, к чему это вечное бегство от непобедимого врага, которого можно умертвить минутою боли? Какой выигрыш, какая свобода для духа!! „Бороться" с врагом?.. Но есть ли смысл в борьбе, когда в ней вечно бываешь побежден? Лежать под сидящим на тебе „бесом" (=плоть) – какая красота для праведника?! Одно движение ножа над тем, что *должно умереть* и *к умерщвлению чего* направлены все прижизненные усилия, что, наконец, *все равно не живет*, а составляет вредный придаток вроде червеобразного отростка слепой кишки, – это в самом деле мудрость! Соловьев, также как и Леонтьев, как и заморивший себя постом Гоголь, не усматривали *положительного, светлого и праведного* содержимого в том, на что посягновение совершил уже Ориген. Между тем „мистицизм", коего жаждал Леонтьев, да и все они три, мог двинуться и не по пути скопчества, но по противоположному пути, – к окончанию того „ледникового периода", с которым мы сравнили весь круг скопческих идей. Тогда все пойдет не к ссыханию, не к отчаянию (психология их трех), а к расцвету, к дождю, к радуге, увиденной Ноем, и словам Божьим о ней: „вот тебе знаменье, что это *не повторится еще*". В двойственной натуре Леонтьева, в его признаниях, что „*лично* я весел и даже бываю легкомыслен", в поразительной его личной доброте, – во всем этом видно, что *ядро его натуры* нимало не подчинилось страшно иссушающим, сжимающим его идеям, что под сумраком их благоухал именно живой цветок, прелестнейшее конкретное выражение „мистицизма в сторону расцвета". Да ведь и Соловьев, всю жизнь провозившийся с теократиею и союзом с папством, не успел при жизни[1] напечатать, но оставил в портфеле *Вестника Европы* предсмертное, *последнее* стихотворение: *Белые колокольчики*, которое я переименовал бы в „Душистые колокольчики". Какое заглавие, какой символ, какое предчувствие!

Сбились мы! Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам... –

могли бы сказать они о *сознательных, преднамеренных* ша-

гах в своей литературной деятельности. А *бессознательная*, она повиновалась другим тяготениям и, только „схваченная снами", не умела выразиться, или выражалась очень редко.

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны, и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.

В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь, и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.

И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, *под новыми звездами,*
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм.

Удивительное стихотворение. Как оно искренно! *Как целообъемлюще*, т. е. говорит о чем-то цельном, достроенном, отнюдь не зачаточном; говорит о готовом, *сущем*. Между тем какая связь этого стихотворения со всеми сознательными частями работы Соловьева, — с папством, „примирениями", ветхозаветною „теократией", „чтениями о богочеловечестве" и всеми вообще его сочинениями, как бы вышедшими из-под фронтона которой-нибудь из наших духовных академий и только более талантливыми. Стихотворение это глубоко-*ново*, а мысль его, и содержание, и надежда — *сотворены*. Это что-то *сотворенное душою* Соловьева; мы говорим не о стихотворении, а о *сюжете* его. Последние подчеркнутые строки, этот „храм, пламенеющий победными огнями", под „новыми звездами", — вовсе не средневековый католический храм, и не Янус двуликого христианства, католическо-православного, о котором, казалось, он хлопотал всю жизнь. Мы сказали, что есть свой *непременный* стиль у старости и смерти; но есть свой *стиль*

и у рождения, у рождающегося, по которому мы можем отгадать будущее строение родившегося. В стихотворении этом до того отсутствует тон *бедноты, минорности*, – выражаются слезы восторга к чему-то напряженному, как бы к предвечному ветру, надувающему паруса человечества, – что мы можем считать его прелестным весенним лучом, растаивающим тот „ледниковый период", которому он служил прозаическими и сознательными своими трудами.

В. Розанов

[1] Это неточно: *Белые колокольчики* были напечатаны при жизни Вл. С. Соловьева. – Прим. Ред. *Русского Вестника*.

СОДЕРЖАНИЕ